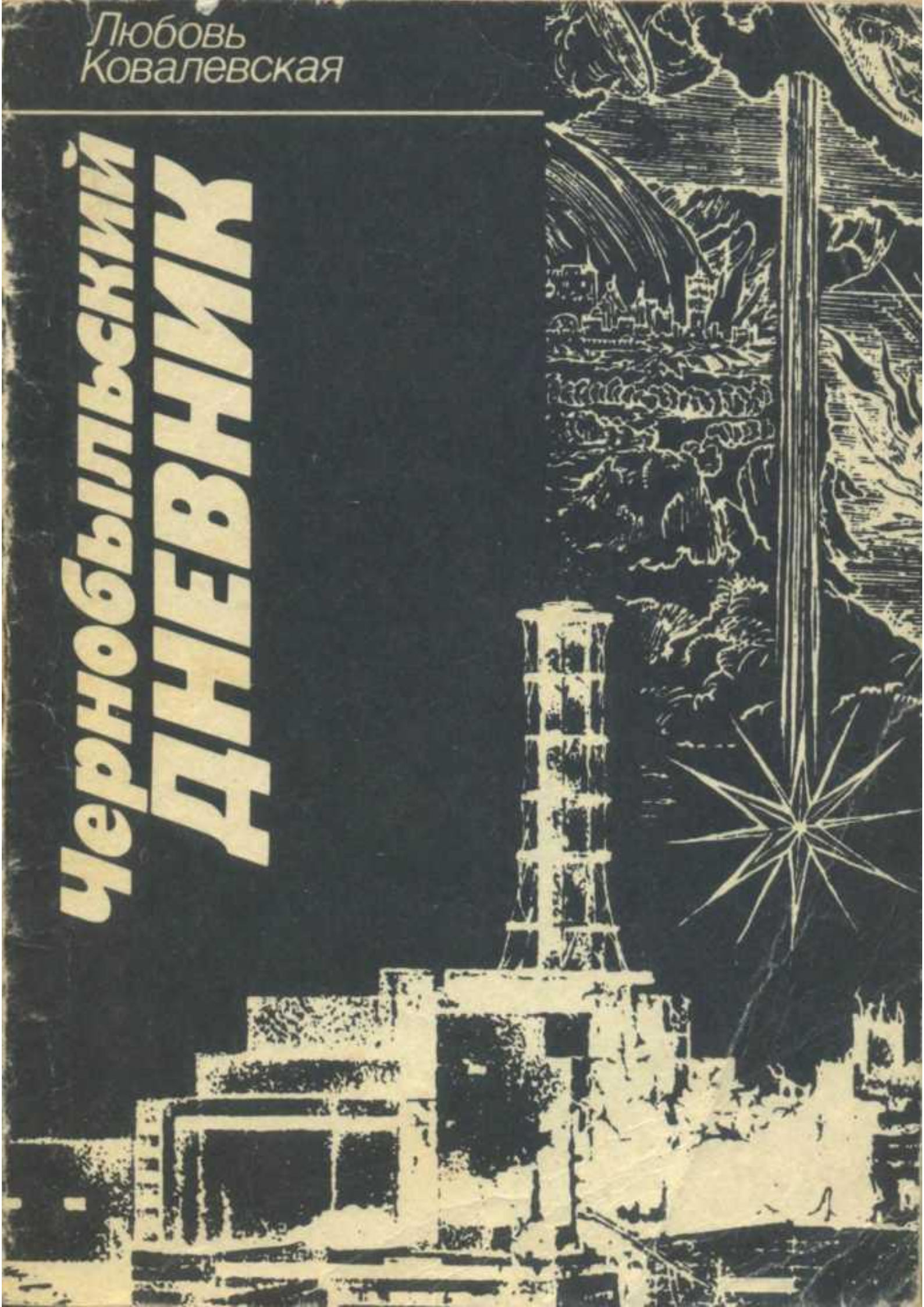


Любовь
Ковалевская

Чернобыльский ДНЕВНИК



Annotation

В этой пронзительной книге — свидетельства очевидца аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ее моральных, социальных последствий.

Автор, впервые ударивший в набат еще до трагической катастрофы, анализирует различные аспекты функционирования атомной энергетики в республике.

Ковалевская Любовь Александровна
Чернобыльский дневник (1986–1987 гг.)
Заметки публициста



Апрель 25

Не судьбой обречена,
а несвободой духа!

Апрель 26

1.23 апрельская ночь
за ночь — год, пробито —
за годы — целый век.
Не был часам:
у них радиолюбия.
И над часами
властен человек

Апрель 27

Мы умирали лучше,
чем неслим...

Любовь Ковалевская

Чернобыльский ДНЕВНИК

(1986—1987 гг.)

Заметки публициста

Киев
«Радянський письменник»
1990

ОТ АВТОРА

Я жила и работала в Припяти с 1977 года. На моих глазах строились город и атомная электростанция. Поэтому атомная энергетика просто не могла не стать моей главной журналистской темой. Другое дело, что в годы застоя энергетика была заповедной ведомственной зоной и сказать правдивое слово было почти невозможно. Но я глубоко убеждена, что авария на Чернобыльской АЭС — не случайность. Все площадки, на которых строятся и эксплуатируются сегодня атомные станции, с позиций геологии и водоснабжения выбраны на Украине с нарушением всяких норм. Эти данные подтверждает и АН УССР. Несовершенны планирование, проектирование, строительство и эксплуатация энергетических объектов. И последнее. Сосредоточение на плодородных землях Украины около сорока процентов атомных электростанций Советского Союза, в результате которого возникли серьезные экологические проблемы, недопустимо. Должна быть проведена ревизия всех действующих и строящихся атомных электростанций и пересмотрена программа развития атомной энергетики не только на Украине, но и в Союзе. Во имя будущего. Во имя человека. Путь, длиною в жизнь, хотя и в рамках двух лет, который прошла я после аварии вместе с тысячами других людей, не должен быть повторен.

«Чернобыльский дневник» не претендует на всеобъемлющую правду о трагическом событии 1986 года. Буду удовлетворена, если читатель скажет: «Это страшно. Это не должно повториться!»

Не частное дело

...Разменяла четвертый десяток, а кажется — полжизни рассыпала на мелочи. С годами мудреют, а я понимаю все меньше и меньше. Что-то с нами происходит... Разладилось что-то в душах, семьях и странах. Наша страна не исключение: потеряно чувство реальности. Или человека?

Когда-то, еще в школе, мы пытались постигнуть непостижимый по своей наполненности вниманием к человеку литературный девятнадцатый век. Спорили о разладе мечты и действительности. Сейчас не спорим — утверждаем то или другое. Или то. Или другое, напрочь забыв строки, вызубренные в школе: «Разлад разладу рознь, — писал Дмитрий Иванович Писарев. — Моя мечта может обгонять естественный ход событий или же она может хватать совершенно в другую сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека... В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы вашу рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим, в цельной и законченной красоте, то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни... Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь, сравнивает свои наблюдения со своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно».

Сегодня до благополучия далеко. Но уже есть надежда, есть мечта, соприкасающаяся с реальной жизнью. Немало уроков преподнес и Чернобыль.

...За два месяца до аварии засела за статью о строительстве Чернобыльской АЭС. Статью о разладе... Название пришло само собой:

«Не частное дело».

«Определяя на основе всестороннего обоснования стратегию экономической политики, XXVII съезд КПСС разработал и конкретные реальные пути перехода к экономике высокой организации и эффективности со всесторонне развитыми производительными силами, зрелыми социалистическими — нравственными — производственными отношениями, налаженным хозяйственным механизмом; указал способы реализации данной стратегии, главный из которых — реконструкция народного хозяйства на основе перспективных, передовых, обгоняющих время достижений научно-технического прогресса.

Обеспечение надежности развития народного хозяйства требует, в частности, дальнейшего укрепления и совершенствования топливно-энергетического комплекса страны, ускорения строительства атомных электростанций. Ныне мощность АЭС составляет 28 миллионов киловатт. В двенадцатой пятилетке намечено ввести в действие 41 миллион киловатт, то есть всего за пять лет увеличить мощность атомных электростанций в 2,5 раза...

Особенно быстрыми темпами развивается атомная энергетика на Украине: в 1984 году мощность только Чернобыльской АЭС составила уже 4 миллиона киловатт, причем выведение энергоблоков на проектную мощность осуществлялось раньше установленного срока. ЧАЭС

обеспечивает Юго-Западный регион страны. Кроме того, с сентября 1980 года энергия Чернобыльской АЭС питает страны СЭВ. За время эксплуатации выработано около 150 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Но работа по наращиванию мощностей ЧАЭС продолжается: сооружается третья очередь в составе пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть введены в эксплуатацию в 1986 и 1988 годах. Мощность электростанции достигнет 6 миллионов киловатт, и она будет самой мощной в мире.

За 15 лет строительства ЧАЭС сложился коллектив строителей. Его костяк составляют высококвалифицированные рабочие, прошедшие серьезную школу сооружения энергетических объектов в различных регионах страны. Немалый опыт приобретен и при возведении четырех блокомиллионников. В процессе работы освоено и создано много нового, прогрессивного. Сформирован крепкий корпус инженерно-технических работников. Успехи строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационников, проектировщиков отмечены высокими правительственными наградами.

И вот на фоне этих достижений особенно заметен спад темпов строительства пятого энергоблока. Не выполнены тематика, физобъемы и планы строительно-монтажных работ (СМР) за 1985 год. Случаен ли этот спад? Конечно, нет. Но и такого однозначного ответа явно недостаточно. Не ставя перед собой задачу всестороннего анализа условий и последствий хозяйственной деятельности коллектива, остановлюсь на главном, характерном для многих строек страны.

«Эффект, можно даже сказать, сама реальность освоения капитальных вложений, — сказал на съезде первый секретарь ЦК Компартии Украины В. В. Щербицкий, — в решающей мере зависит от укрепления производственной базы строительных организаций, от качества проектов и своевременной поставки оборудования. Именно здесь у нас завязан узел многих проблем...» Добавлю: они неизмеримо возрастут, если не обеспечивается хотя бы одно из этих условий (а если — все!), — тогда ставка делается только на энтузиазм.

Да, среди слагаемых успешной работы энтузиазм должен и занимает полноправное место. Более того, его даже можно планировать, но только после того, как рабочие будут обеспечены всем необходимым на строительных площадках, а не наоборот. Должны быть созданы условия (!) для работы. Результат же этих условий на сегодня — неудовлетворенность людей. Взять хотя бы вопросы материальной заинтересованности. Стройка должна быть непрерывным процессом (до сдачи «под ключ») на базе строжайшего соблюдения технологии строительства. А вот этого как раз и нет. И нет плана. И нет зарплаты (100–150 рублей на семью из трех-четырех человек не деньги). Проблемы первого блока переключались на второй, со второго — на третий и так далее, но при этом расширились, «обросли» великим множеством нерешенных. Сначала эти проблемы обсуждались заинтересованно, с твердой уверенностью, потом — с возмущением, а еще позднее — с безнадежностью: «Сколько же говорить об одном и том же, и какая польза от этой говорильни?..»

И вот пятый блок... Сроки его сооружения были сокращены с трех до двух лет, строительство началось в 1985 году с минимальным заделом. К этому все же не были готовы ни проектировщики, ни поставщики, ни сами строители, чьи возможности, конечно же, не безграничны. Однако директивные органы, иногда и в силу объективных причин, не наращивая мощностей строительных организаций и не учитывая объективные возможности, торопятся навязать нереальную программу, не подкрепленную ни расчетами, ни ресурсами, что и приводит к дезорганизации и без того слабо организованного строительного производства, к провалу плана. Несвоевременная выдача проектно-сметной документации (ПСД) институтом «Гидропроект» имени С. Я. Жука не позволили эффективно спланировать размещение заказов на сборный железобетон и металлоконструкции: основная масса, к

примеру, последних была заказана в четвертом квартале, а это, в свою очередь, привело к срыву поставок. И уже как следствие — неритмичность работы бригад, простой. Круг замкнулся. Только в октябре-ноябре конструкции пошли по монтажным организациям, но подразделения уже не в состоянии были освоить полученные объемы. Низкое качество ПСД требовало дополнительных трудозатрат, переделок, материальных и моральных усилий.

Неорганизованность ослабила не только дисциплину, но и ответственность каждого и всех за общий результат работы. А любое дело требует прежде всего нравственного отношения — без этого нет и не может быть ни любви к труду, ни добросовестности, ни качества. Невозможность, а то и неспособность инженерно-технических работников организовать труд бригад ослабили требовательность. Стали сказываться и «усталость», изношенность оборудования, машин и механизмов, нехватка средств малой механизации, инструментов и т. д. Словом, обнаружились и обострились все недостатки строительного механизма, к сожалению — типичные. Это время совпало с началом перестройки экономики, потребовавшей в первую очередь перестройки сознания и отношения людей к делу. Не секрет, что «перестройка» человека — процесс длительный. А жизнь, как известно, торопит.

Отставание за минувший, 1985 год, осложнило и без того нелегкие задачи текущего года: освоить на пусковом комплексе около 120 миллионов рублей СМР. В то время, как наивысшее достижение коллектива в освоении объемов строительно-монтажных работ на пусковом объекте при сооружении ЧАЭС составляет чуть более 70 миллионов рублей. Как видно, разница значительная.

Конечно, принимаются меры по нормализации положения, но они, как и прежде, половинчатые, разорванные и разрозненные, и реального улучшения принести не могут. И не принесут. Время упущено. Упущены вера и тот здоровый настрой коллектива, который всегда помогал, и немало, находить дополнительные резервы, силы, а то и выход из сложной ситуации. И все же честь коллектива в руках самого коллектива... Сделано и делается далеко не все, чтобы выполнение и перевыполнение задания стало нормой.

XXVII съезд поставил задачу коренного улучшения капитального строительства. Будут выделены значительные дополнительные средства и резервы, обновлены и усовершенствованы машинные парки и т. д. Без этого невозможна техническая реконструкция. Шла речь и о низких темпах строительства, долгострое, распылении средств, сокращении средств на жилье и соцкультбыт в угоду сооружению промышленных объектов, которые строят люди, а часть из них не имеет даже временного жилья, ожидает своей очереди не один десяток лет. Все это тормозит научно-технический прогресс в народном хозяйстве. Снижает активность и заинтересованность людей в качественном и высокопроизводительном труде (зарплату какую-никакую и так дадут...).

Минэнерго СССР в одиннадцатой пятилетке допустило срыв ввода в действие мощностей на атомных электростанциях, что вызвало дополнительные потребности в органическом топливе. «Учитывая напряженность в топливном балансе страны и возрастающую роль атомной энергетики, такие срывы в дальнейшем недопустимы», — подчеркнул в своем докладе Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков. И это не взаимоисключающие меры, потому что применяются с единой целью — придать экономике надлежащий динамизм, без которого невозможно и выполнение социальных программ. Да, эти меры требуют слаженности и высокой ответственности всех звеньев строительного конвейера, каждого руководителя, каждого рабочего. Эти меры требуют не только компетентности, но и порядочности. Эти меры требуют человеческой культуры в широком смысле этого слова. Очень высока наша ответственность перед грядущим: что мы оставим новым поколениям?

На одном из звеньев строительного конвейера следует остановиться более подробно. «В серьезном совершенствовании нуждается и система материально-технического снабжения, — отметил в Политическом докладе Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. — Она должна превратиться в гибкий экономический механизм, помогающий народному хозяйству работать ритмично и устойчиво. Прямая задача Госснаба СССР — активно способствовать установлению прямых длительных связей между производителями и потребителями на договорной основе, укреплению дисциплины поставок».

Производством и сбытом железобетона в системе Минэнерго СССР занимается ВПО «Союзэнерго-стройпром». Управление строительства Чернобыльской АЭС заключило экспериментальный договор с управлением «Энергостройкомплектация». Что значит — экспериментальный?

Раньше договоры заключались между заказчиком и заводами-изготовителями, расположенными в разных уголках страны, что осложняло и систему оплаты заказов, и взаимные контакты, особенно когда возникала необходимость оперативного решения обоюдных вопросов. Теперь централизованным заводом-изготовителем выступает вышеупомянутое планирующее управление: и принимает, и размещает заказы, и расплачивается за их изготовление с заводами. Заказчик же напрямую работает только с управлением «Энергостройкомплектация», производя оплату заказов лишь после получения полного комплекта (объект — комплектная поставка) непосредственно управлению. Как видим, такой договор и взаимовыгоден, и удобен, потому что освобождает заказчика от лишних хлопот, а заводы-изготовители — от забот при несвоевременной оплате заказов. Однако и до сегодняшнего дня не отработана методика ведения документации по отправлению и приему грузов в рамках данного эксперимента. Заказчик, получая груз, даже не знает, из какого комплекта он прислан. Но выход есть, причем самый простой: в сопроводительной документации при отправке груза указывать комплект и объект. Не нужно ни чрезмерного напряжения, ни дополнительных затрат, чтобы решить этот вопрос, однако он все равно почему-то не решается... А если отбросить деликатность, то здесь срабатывает иная «всеобщая электрификация», когда всем все до лампочки, то есть мы опять упираемся, словно в глухую стену, в проблему нравственности.

Есть и еще одно «но» или «однако», значительно серьезнее. Из-за недобросовестности завода-изготовителя заказчик не может избавиться от брака, некомплектности или срывов поставок. Так, в 1985 году было заказано 45 500 кубических метров сборного железобетона, недопоставлено — 3200, а из полученных 42 300 кубометров — 6000 поставлено некомплектно, в результате (так называемый, обратный результат) и до конца года некоторые заказы оказались незакрытыми.

Что означает для стройки некомплектная поставка? Во-первых, накопление сверхнормативных запасов. На 1 января 1986 года из остатков железобетона в 36 700 кубометров сверх нормы было 32 000 кубометров. Выходит, что железобетон есть, а монтировать его нельзя. Вот и простаивают коллективы, срываются сроки сдачи объектов, бригадные подряды (а в отчетах — все на хозрасчете). Во-вторых, затоваривание, перегруженность складских помещений и разгрузочных площадок (при комплектной поставке разгрузку можно максимально приблизить к объекту), что, в свою очередь, приводит к сверхнормативным простоям вагонов (а значит, и к штрафам), порче конструкций (нижние лопаются под тяжестью верхних), дополнительным перевозкам и постоянному перекладыванию конструкций с места на место в поисках (!) нужной. Участок производственно-технической комплектации управления строительства ЧАЭС постоянно трудится со значительным перевыполнением плановых заданий (за 1985 год переработано 16 048 тонн груза), однако успешной, эффективной работу УПТК никак не назовешь.

В-третьих, некомплектная поставка — это дезорганизация производства, дополнительные трудозатраты, неудовлетворенность людей.

В техинспекции (отдел, контролирующей качество поставок и работ) накопились горы актов по определению стоимости дополнительных трудозатрат и вычетов их из стоимости конструкций бракоделов. И брак оплачивается, оплачивается на протяжении десятков лет.

Приводя эти факты, хочу заострить внимание на недопустимости брака при сооружении атомных электростанций, энергетических объектов вообще — каждая конструкция по своей несущей способности должна соответствовать норме, каждый кубометр железобетона должен быть гарантией надежности, а значит — и безопасности. И главным контролером всех, кто причастен к возведению энергетических объектов, должна быть прежде всего его совесть. Убеждена, что у человека, имеющего совесть, брак невозможен, так как это унижает его...».

Разлад разладу рознь... Рядом с Чернобыльской АЭС вырос прекрасный город, взявший себе имя реки, на которой стоит, — Припять.

«Я всегда мечтал сам создать проект города, от первого до последнего дома. Эта мечта делала интересной мою жизнь, помогала забывать плохое. В 1969 году я приехал в числе первого строительного десанта, чтобы выбрать площадку для города и электростанции. Среди пустынного поля словно привиделись мне очертания будущей Припяти — города молодых.

Выбор площадки был сделан: удобные транспортные связи, наличие железнодорожной станции, возможность речного сообщения, действующие автодороги и аэродромы местных линий — все это создавало условия для полнокровной жизни города. А атомные... Новые города не возникают без промышленных или энергетических объектов... Природные условия здесь подходящие для станции: относительно неплодородные земли, необъятная ширь поймы реки... Но это не мое. Задача архитекторов заключалась в том, чтобы вписать город в окружающую среду, не нарушая созданного природой гармонического ландшафта».

Это отрывок из беседы с главным архитектором проекта Припяти Геннадием Ивановичем Олешко в 1982 году. К сожалению, этот талантливый человек скончался за год до аварии после тяжелой болезни. Сохранилась и старая запись разговора с бригадиром монтажников Иваном Нестеровичем Рагулиным:

«Двадцать четыре года работаю на монтаже, в основном главных корпусов электростанций. Но все делаю, как впервые, все мне интересно. И не только в моей работе. Люблю наблюдать за тем, как красит маляр, как электросварщик вычерчивает шов, как из-под рубанка плотника кучерявится стружка. Да и работа монтажника позволяет многое увидеть. И не только увидеть, но и почувствовать, ведь первый дождь — наш, первый снег — наш, проклюнулся из почки весной первый зеленый листок — тоже наш...»

Велика сила чувств, разбуженных мечтой создателя: несколько раз Г. И. Олешко менял проект, чтобы сохранить груши-вековухи, сосновые островки, отдельные деревья — он чувствовал землю, на которой жил и работал. Потому что любил не только свое дело, но и землю.

Эвакуация

В это утро, 26 апреля, я проснулась с ощущением какого-то еще неизведанного волнения и, одновременно, с чувством сброшенного наконец с плеч тяжелого, но сладостного бремени: вчера, еще до темна, дописалась последняя строка поэмы о Паганини, которую я решила включить в свой поэтический сборник. С этой последней строкой рождалась моя первая книга, книга моего мира, моей души; с этой последней строкой рождались новые надежды... Распахнула шторы — и зажмурилась от яркого солнца. Курчавились нежной весенней зеленью под окнами березки, самолюбиво топорщились резные листочки клена. И только птиц не было слышно, в кормушке осталось нетронутым зерно. Зато солнце оставалось солнцем! Захотелось на улицу, под эти животворные лучи, под высокое небо... Хотелось вдохнуть полные легкие весенней свежести, еле уловимого аромата воздуха, чтобы — в который раз! — ощутить полноту жизни, неповторимость каждого дня, каждого мгновения...

...Улицы Припяти были обильно политы водой. Как нередко. Но на ее поверхности, особенно во вмятинах дорог и у бордюров, пузырилась белая, почти морская пена. «Добавки», — мгновенно пронеслось в голове, и глаза сами обратились в сторону АЭС. Но сосновый бор, любовно сохраненный строителями, закрывал привычную панораму корпусов и труб энергоблоков. Я поспешила в первый микрорайон, откуда атомная была видна как на ладони.

В субботний день в городе особенно многолюдно: торопятся в школы дети первой смены, возвращаются из бассейнов и со стадионов мальчишки и девчонки второй смены, гуляют с розовощекими малышами нарядные мамы, спешат с набитыми рюкзаками запоздалые рыбаки и с садоводческим инвентарем дачники. Но непривычно часто встречаются люди в милицейской форме — у почты, возле школ и училища, Дворца культуры, магазинов, на площадях. Праздношатающимися их не назовешь. Подтянутые, сосредоточенные, спокойные. И только во взглядах нет-нет и промелькнет озабоченность.

Я подошла к автостанции — пустота. Все рейсы отменены. Пуст и базар, лишь заядлые покупатели стойкой обсуждают досадное недоразумение, в разговоре то и дело мелькает слово «авария».

Припятчане, живущие более пятнадцати лет в соседстве и содружестве с атомной электростанцией, привыкли к ее существованию, даже к внеплановым остановкам реакторов и аварийным выбросам, и не придавали этому большого значения, уверовав в ее безопасность и надежность. Для большинства горожан Чернобыльская АЭС не просто место работы, но и сама жизнь, а значит, и потребность, и интерес, и... любовь.

Но сегодня небо над ЧАЭС кровоточит. Огромная черная труба четвертого энергоблока стала красной; она, словно раскаленный скальпель, вспарывает небо; она приковывает взгляд, завораживает богатой палитрой красного цвета. И я иду на этот цвет, словно какая-то сила подталкивает в спину. Меня остановил постовой: «Туда нельзя!» Туда — нельзя. Там, ниже трубы, развороченная стена корпуса четвертого энергоблока, черная, неестественная. Вот оно — найденное слово, объясняющее этот странный день, 26 апреля, — неестественность.

Я вновь возвращаюсь на людную площадь. Все говорят об одном и том же, но неуверенно и неопределенно. Решили узнать в горкоме партии. Кто-то направился к телефону, но в трубке, вместо ответа, одни вопросы: кто говорит? кто сеет панику? как ваша фамилия? Наконец направились в милицию — уж там наверняка дадут правдивый ответ.

В ночь с 25 на 26 апреля ответственным за несение службы в городе был сам начальник ГОВД майор милиции Василий Андреевич Кучеренко. Около часа, объехав посты и важнейшие объекты, он заскочил

домой: жена в отъезде, а как дочки? Четырнадцатилетняя Ирина и пятилетняя Людмила спали. Осторожно прошел на кухню, поставил чайник... и вздрогнул от неожиданного взрыва. На АЭС? А может, самолет... преодолевает воздушный барьер? Чайник засвистел и, словно соревнуясь с ним, задребезжал телефон. В трубке взволнованный голос дежурного: «Товарищ майор, докладывает лейтенант милиции Шевченко. На атомной электростанции произошел взрыв. Возник пожар. Сильный. Участковый инспектор капитан милиции Колпак съездил на АЭС на мотоцикле, проверил — он первым увидел пожар, первым позвонил в отдел...». Кучеренко сорвал с вешалки плащ и бросился к лифту. У подъезда уже ждала машина. Мысли набегали одна на другую: «Капитан милиции Колпак... Леонид Николаевич... этот всегда на месте... пожар сильный... позвонить в УВД...». В горотдел вошел, как всегда, спокойным. «Вот что, Яков Николаевич, — обратился он к дежурному, — собирай личный состав по тревоге, а я — на станцию».

Сразу же за мостом машину обволокло не то туманом, не то мглой — в двух метрах ничего нельзя было различить, ехали наощупь. С полуразрушенного здания четвертого энергоблока поплыл битум, сверху бушевало пламя, мелькали фигурки пожарных. Возле административно-бытового корпуса «скорые», кого-то почти бегом несут на носилках к машине. Разыскали директора станции, но он только пожимал плечами... Вскоре дозиметрический контроль доложил: радиация.

Было около двух часов ночи, когда Кучеренко возвратился в отдел. Тишина. Подошел к ленинской комнате, прислушался — тишина. Резко отворил дверь и замер: весь личный состав, не считая тех, кого не было в городе, ждал его... Уже потом, позже, признается он: «Горло перехватило от волнения, от гордости за этих людей, от любви к ним... Рассказал обо всем так, как есть. Приказывать не мог, не хватило совести...» Да, тогда он оперативно принял первое важное решение: нужно перекрыть подъездные пути к атомной, так как утром появятся рыбаки, дачники. Обстановка сложная, но кому-то нужно встать на самые опасные три поста. Да, он не приказывал, он только сказал: надо. И сразу встали трое — работники ГАИ: старший сержант милиции Владимир Денисенко, инспекторы дорожно-патрульной службы коммунист Сергей Малюх и комсомолец Валентин Вишневский. За ними — остальные. Пришлось выбирать, но выбирал Кучеренко машинально, на кого, как говорится, упал взгляд...

Майор милиции Кучеренко сделал самое трудное: отправил ребят на перекрытие подъездных путей к АЭС. Он боялся. Нет, не ответственности. Боялся за их здоровье, за их жизнь. Это потом в МВД СССР подтвердят, что руководство Припятского ГОВД правильно оценило обстановку в первые два часа после аварии. Он и не сомневался в правильности своих действий — ему очень трудно было отправить ребят... Но он преодолел свою тревогу, свой страх за них — первых. Он уже ставит четкие задачи перед каждым сотрудником: об аварии люди знают, не исключена возможность паники и беспорядков, не исключена — и этого нельзя не учитывать; людям объяснять, говорить правду, но успокаивать — дальнейшие меры пока не известны: каждый микрорайон, каждый объект взять под наблюдение и охрану — помощь может потребоваться в любую минуту; расставить посты, по улицам пустить спаренные патрули... Он собирает у себя в кабинете заместителей и распределяет их по микрорайонам, советуется с замполитом — капитаном милиции Анатолием Петровичем Стельмахом. Он встречает заместителя начальника УВД Киевского облисполкома полковника милиции Владимира Ильича Володина, вновь едет с ним на АЭС, объезжает город, инструктирует посты. Утро медленно, но наступает: на часах — пять. Полковник милиции Володин уже поднял личный состав области по тревоге — утром в Припять прибыли работники милиции из близлежащих районов, предполагал полковник и возможность эвакуации — готовил людей...

В ночь на 27 апреля во многих окнах не гас свет... Утром ждали сообщения по радио, но оно упорно молчало. И лишь в обед раздалось: внимание! внимание! внимание! Никаких объяснений — в дорогу. На три дня.

Вслед за сообщением — звонок в дверь. Открываю — на пороге милиционер. Спрашивает о самочувствии, не нужна ли помощь, нет ли больных... Он успокаивает плачущую маму, которая помнит эвакуацию во время войны. Он советует взять для детей теплые вещи — на весеннюю погоду надежды мало (и как он был прав!). У него красные от бессонницы глаза, но до блеска начищенные сапоги. У него на плечах погоны — и дочь тянется потрогать их...

У каждого подъезда уже стоят автобусы. Все одеты по-походному, шутят. И все же довольно тихо.

У каждого автобуса — милиционер, проверяющий по списку жильцов, помогающий вносить вещи и, наверно, думающий в это время и о своей семье, с которой и повидаться-то не удалось за эти сутки.

Кто-то включил транзистор. Ухо привычно отделило от слаженного хора инструментов нервные голоса скрипок...

Автобус тронулся. Наш милиционер помахал на прощанье. И от этого взмаха стало неловко: мы уезжали — он оставался. И от этого взмаха стало спокойнее: ему не безразличны судьбы людей и он рад, что мы уезжаем. Ради нас он остается, как и его товарищи, в пустом городе, остается на посту — служба...

В этот день, 27 апреля, мы постигли не только разумом, но и сердцем, что такое эвакуация. Длинная вереница автобусов с зажженными фарами, выехав из города окружной дорогой, медленно двигалась в сторону Полесского. Навстречу — такая же нескончаемая колонна крытых грузовиков. В некоторых из них — солдаты в респираторах.

Неожиданно для всех заплакала женщина с трехмесячным ребенком на руках — наша соседка по подъезду. Разговор захлебнулся. Ее сынишки, отбежав от окна, наперебой стали утешать:

— Не плачь, мамка, не плачь...

— Не плачь, сама же говорила, что от слез молоко пропадает, чем кормить будешь?

— В окно гляди — война, наверно, там солдатиков повезли видимо-невидимо, не плачь...

Мужчины отвернулись. Женщина затихла. Стало слышно, как разноголосно урчат моторы, перекикиваются милиционеры патрульно-постовой службы, расставленные вдоль дороги.

Впереди показалась крохотная деревенька-вдовушка: у калиток стояли сгорбленные старушки, осеняющие крестом каждый проезжающий автобус...

Я посмотрела на маму. Враз постаревшая, оплывшая, с обесцвеченными тайной тревогой глазами, она показалась мне почти незнакомой, моя совсем не старая мама. Обычно упрямая и решительная, с властно поджатыми губами, сейчас она напоминала мне раненую птицу, удерживающуюся на ногах благодаря растопыренным крыльям: ее руки, тяжелые и безвольные, лежали на острых плечиках внучек. Но особенно поразила какая-то каменная жалкость, подчеркнутая серой грубошерстной кофтой и комнатными тапочками на иссушенных полиартритом ногах. Каменная жалкость женщины, уже потерявшей... Терявшей отца, дом, мужа, сына, снова дом и еще много-много того, что не выразить словами, не излить слезами... Но я знаю, что таких, как мама, уже нельзя утешить. Знала об этом и раньше, поэтому рука моя никак не могла написать на праздничной открытке пожелание счастья — поздно. Как пощечина — поздно. Как стук мерзлой земли о крышку гроба — поздно. Как поцелуй любимого — в лоб! — поздно... И даже утешать — поздно. И я не утешаю, хотя сердце готово выскочить из груди от жалости к этой жалкости, к этой беззащитности сильной женщины, к этому привычно-покорному оцепенению. Не утешаю, потому что сейчас, в этот миг, вдвойне поздно...

Вечерело, когда часть колонны, в том числе и наш автобус, повернула с трассы на грунтовую дорогу с указателем «Максимовичи». Вскоре показалась и деревня, растянутая несколькими улицами на все четыре стороны. Остановились на площади. Водители автобусов, сбившись стайками, курили. Бежали какие-то

люди. Оседала белесая пыль, поднятая множеством колес и ног. Мы терпеливо ждали, даже не подозревая, что это лишь начало долгого ожидания, первый урок терпения и терпимости к ожиданию, защита перед неизвестностью, неопределенностью, неестественностью. Прошел час, другой, а мы все сидели на своих местах в автобусах и ждали, не зная кого и чего. Одно не вызывало сомнений: нас оставят здесь.

Наконец пришла полная, в цветастом платке женщина. На лбу ее дрожали капельки пота, она машинально смахивала их рукою, но они проступали вновь и вновь. «Не горюйте, люди добрые, — виновато улыбаясь, говорила она, — сейчас разместим всех. Мы всю ночь не спали — ждали вас, все ждали, да вы почему-то запозднились на целые сутки... Не горюйте, люди добрые, сельчане ждут вас, помогут. И колхоз поможет. Потерпите немножечко...»

Поехали по одной из улиц, останавливаясь у каждой хаты. Женщина с той же виноватой улыбкой называла число членов семьи, которое может принять хозяйка, и кто-то выходил, оборачиваясь на прощание и улыбаясь виноватой улыбкой, словно перенятой у женщины в цветастом платке. А может быть, это была просто растерянность...

Дошла очередь и до нас. Приняли радушно: усадили за стол, угощали молоком. Вдова с престарелой матерью расспрашивали нас об аварии, рассказывали о себе, беспокоясь, не привезли ли мы с собой эту неслыханную заразу — радиацию, и что она представляет, и как от нее спастись. Мы успокаивали их, делились скудными познаниями, почерпнутыми в основном из книг и фильмов о трагедии Хиросимы и Нагасаки, и чувствовали, что нам не верят: Хиросима — это далеко, это чужое, а кто может знать правду о чужом... Они и о Припяти ничего не слышали, атомной электростанции никогда не видели — полешуки. Больше успокаивало наше желание помыться — нагрели ведро воды, дали тазик. Мылись мы во дворе, постукивая зубами от ночной прохлады...

В эту ночь заснуть так и не удалось. Вспомнилась последняя встреча с друзьями 26 апреля.

«Лариса услышала взрывы, встала, подошла к окошку, — рассказывал Василий Павлюк. — Разбудила меня. Я знал о планово-предупредительном ремонте на четвертом энергоблоке и сначала не поверил ей, что горит, что от блока поплыла, «растекаясь по всему небу», черная туча. Подумалось: женская фантазия. Но уже через несколько минут шум за окнами усилился: переговаривались, вернее, кричали, перекрикивались через мегафоны милиционеры и пожарные, урчали машины, трещали мотоциклы. Вскочил... От атомной станции плыл черный дым, сквозь который пробивались редкие языки пламени. Значит, что-то горит, значит, полетела наша премия... С трудом дождались утра. Пришел брат, пошли на разведку. Подходим к больнице, смотрим — Люда Приходько идет, держась за забор. Подумалось: неужели пьяная? Вроде на нее непохоже. Подошли. Оказалось, что она лежала в хирургическом отделении, только вчера ей сделали операцию, а утром пришел врач и сообщил об аварии. Больные забеспокоились, а услышав об эвакуации — и того больше. Врач говорит, что тот, кто может идти, считается выписанным, машин нет — все на блоке. А как ей сказать, что не может, когда дома дочь ждет... Пошла. Часа за полтора мы ее довели до дому. Только тогда дошло, что дело очень серьезное: раз говорят об эвакуации, значит, поврежден реактор...

Тогда, 26 апреля, мы долго спорили об эвакуации, пытаюсь угадать сроки: от двух недель до трех месяцев максимум! Подшучивали над Ларисой, готовящейся к родам: в поле, в поле, голубушка, по-крестьянски — будем возвращаться к предкам, от цивилизации к природе... И она смеялась, но глаза оставались неподвижными — помнила прошедшую ночь и плывущую тучу...»

И вот сейчас, оставшись одна, без друзей, я восстанавливаю в памяти наш разговор, вспоминаю шутки, жесты, выражения лиц, словно пытаюсь склеить расколотый взрывом привычный мир, устоявшийся быт, наконец, себя, раздерганную ворохом чувств и мыслей в этот неестественный день. Где они сейчас —

Лариса и Василий, Светлана и Петр? И что несла в своем черном чреве та туча над городом? Конечно, доза облучения космонавтов может достигать в год ста рентгенов, но космонавты — люди особенные, подготовленные и к перегрузкам, и к дозам. Простой смертный тоже в какой-то степени подготовлен цивилизацией и атомными, но кто даст гарантию, что последствий не будет, что у Ларисы родится здоровый ребенок, что радиоактивные изотопы, накапливаясь в организме, не станут источниками внутреннего облучения... Мы разучились думать, привыкнув знать, — зная об излучении, не додумались даже закрыть форточки, уберечь детей от улицы. Разучились помнить о чужой Хиросиме как об общей беде, о своей боли — и вот сейчас гадаем о туче, гадаем о туче. Было свечение — не было вспышки. Это главное. Но был город — и нет города: какая Припять без нас — зияющая пустотой дыра. После тучи. Совсем не грибовидной тучи. Как жаль, что Лариса смогла все это увидеть из окна... Довелось увидеть... Пустой город — как черная дыра, черная дыра вселенной. Еще одна...

Потянулись безликие, скомканные неопределенностью и безделием дни. Никто не мог сказать, что будет дальше. По утрам шли к медпункту пить йод. Затем вставали в очередь в продовольственном магазине. Это стояние стало своего рода обрядом, единственным развлечением, совмещающим полезное занятие с потребностью в общении. Здесь знакомились. Здесь делились новостями и деньгами, бедами и тревогами. А после толпились на площади около клуба...

Время, казалось, выдохлось, перешло с бега на ходьбу, а потом просто застыло над этой землей, потеряв след. И только природа, не нарушая ритма смены дня и ночи, напоминала о существовании времени. Только природа. Беспольное время воспринималось как вечность — непосильное для души бремя. Мужчины уехали в Припять насыпать песком мешки. Некоторые стали устраиваться на работу в колхозе.

Иной жизнью, в ином измерении жил сельский Совет: составлялись списки проживающих, уточнялись адреса, оказывалась помощь, разыскивались родственники и дети (работающих в тот день, 27 апреля, эвакуировали из учреждений и организаций). И вместе с этим велись полевые работы, шла посевная... Но жителей Максимовичей беспокоила судьба села: прибывшие дозиметристы установили повышенный радиационный фон. Весть мигом облетела все село, заметно поубавив радушие хозяев и безобидность «гостей». Пьяный мужик на деревянной ноге, завидев приезжих, лез в драку: «Сами построили станцию, сами взорвали, сами и расхлебывайте. Нам — войны по горло...». Ему отвечали нестройным, обиженно-озлобленным хором. И было стыдно и за пьяного мужика, оставляющего деревянной ногой в песке многочисленные ямки — с трудом удерживал равновесие, и за праздную толпу с ее готовностью противостоять слабому, опустившемуся человеку, и за свою отрешенность от пьяницы и от толпы. И было больно, что в словах мужика подспудно чувствовалась правота, что авария случилась именно в Припяти и что, наверное, не скоро обретем мы свое человеческое достоинство, если ищем и находим удовольствие и облегчение в унижении друг друга...

Через два дня после эвакуации, 29 апреля, покинули Припять работники ГОВД — их заменили милиционеры из Богуславского района. Размещались на новом месте — в селе Луговики Полесского района, в полевых условиях. К этому все же многие не были готовы... Я не знаю, что говорил Кучеренко своим подчиненным на вечерней поверке, но на следующий день свободные от службы благоустраивали территорию и ремонтировали школу, которая отныне становилась и домом, и местом работы. Приводили в порядок форму. Солдат всегда солдат. Милиционер — представитель власти, носитель чистоты и справедливости самой жизни. Организованность, дисциплина почти военные. И этого «почти» требует ситуация.

...Человек на своем месте. Как это много значит, как многое меняет и всегда оказывается решающим. Сам Кучеренко — из таких. Я помню, как несколько лет назад он был назначен начальником ГОВД Припяти

(прежнего куда-то перевели из-за несоответствия). Пришла познакомиться, уже зная, что сразу после армии поступил в Ивано-Франковскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР, два года работал участковым инспектором в Борис-поле, затем учился в Ленинградском высшем политехническом училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ, а перед назначением в Припятъ пять лет был замполитом в Васильковском РОВД. Обыкновенный послужной список. «С чего думаете начать?» — спрашиваю. Чувствую — напрягся, как пружина, но отвечает спокойно: «С себя, а затем с людей, с их сознательности, дисциплины, организованности, порядка. Это всегда важно».

Принципиальность и твердость нового командира были отмечены сразу. Большинство восприняты с облегчением. Кто-то предпочел выждать. Кто-то усмотрел в этом позу, а кто-то и ущемление своих «неограниченных» прав и возможностей. Он не спешил: ломать — не строить, изучал каждого сотрудника. Был убежден: чтобы милиционер воспринимал службу как служение законности и справедливости, он должен быть не только требовательным, но и милосердным, должен не только карать, но и сострадать. И сплеча не рубил: умел прощать, убеждал, поддерживал любое хорошее качество, не помогало — расставался. Не без сожаления: значит, не добрал человек чего-то человеческого. И без сожаления: милиция не то место, где достаточно казаться. Подбирал надежных.

В это время и пришел к нему заместителем по политчасти Анатолий Петрович Стельмах, до этого работавший на АЭС, потом вторым секретарем горкома комсомола, инструктором горкома партии. И вот милиция. Меня такой поворот не удивил. Какими мы представляем себе руководителей? К сожалению, такими: в лексиконе только производные от слов «дело» и «работа», на лицах — выражение этакой государственной значимости и занятости, в манерах — признание собственной непогрешимости: раз поставили, значит, соответствую... Ничего похожего и близко не было ни во внешности, ни в поведении Стельмаха. От него требовали «власть употребить», а он был внимателен к людям и приветлив. Питал искреннюю несимпатию к дутым отчетам и неумным циркулярам. Мог сметь «свое суждение иметь», Словом, являлся человеком не «должностного круга», но был необходим, потому что трудился добросовестно и ничего взамен не требовал. И все же суть ответа на вопрос: «Почему в милицию?» — не только в этом. Чисто условно людей в любом коллективе Стельмах делил на три категории: личности — люди, наделенные неординарными способностями и человеческими качествами; трудяги-исполнители — думающие, знающие себе цену и цель в жизни люди, ставящие рабочую честь превыше всего; и, наконец, работники для себя. *И ему всегда хотелось трудиться там, где наименьший процент тех, которые проживают жизнь...*

И у него было свое начало в Припятском ГОВД. Анатолий Петрович знал и раньше, что в братской могиле на железнодорожной станции Янов похоронен Герой Советского Союза Дмитрий Васильевич Шурпенко — бывший милиционер девятого (ныне 108) отделения милиции Москвы. В местном музее разыскал фотографию и биографию героя: родился на Смоленщине в многодетной крестьянской семье, в 1937 году был призван в армию, после службы по охране общественного порядка, однажды за один вражеский налет затушил 34 зажигательные бомбы, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1941 года одним из первых в московской милиции был награжден боевой медалью «За отвагу», которую вручил ему в Кремле М. И. Калинин; в 1943 году добровольцем ушел в действующую армию и уже в октябре в числе других за форсирование Днепра ему было присвоено звание Героя Советского Союза... С этого и начал свою первую политбеседу, но говорил не столько о самом подвиге, сколько о честной жизни Шурпенко, о назначении человека, о назначении милиционера. Разговор задел за живое — решили создать уголок героя, связались с коллегами-москвичами. Так началась дружба, так началась настоящая работа с людьми. *И в нем признали комиссара. В него поверили как в человека и потянулись к нему...*

И как-то незаметно, словно само по себе, изменилось в ГОВД все: люди, отношения, даже само здание. Нет, сложностей хватало и теперь, но не было самоуспокоенности, пускания пыли в глаза. А когда

ситуация, обстановка потребовали концентрации всех сил и возможностей коллектива, эти изменения стали еще очевиднее.

Первого мая в селе было тихо: сидели у телевизоров. В Киеве проходила праздничная демонстрация — нарядные колонны, цветы, улыбки и крики «ура!». Все это никак не укладывалось в сознании, казалось нереальным, невозможным в то время, когда совсем рядом бушевала беда, гибли люди, когда тысячи эвакуированных ждали решения своей участи.

И полетели телеграммы во все концы, словно враз все вышли из какого-то полусна, полуоцепенения, непонятного оупения. Уезжали на попутках в Полесское, где разместились горком партии и горисполком, работавшие круглые сутки. Но в этой работе по-прежнему не было самостоятельности, гибкости, заинтересованности в решении судьбы каждого отдельного человека, а не среднестатистического, абстрактного, не имеющего в отчетах ни имени, ни биографии. Вот почему по-прежнему входили в кабинеты политических руководителей не как представители народа, а как просители, заранее униженные предполагаемым отношением и ответом: там люди жизни кладут, а вы здесь со своими личными вопросами... Анемия, поразившая городскую власть после аварии, здесь, в Полесском, прошла, потому что рисковали, взяв на себя огромную ответственность, уже руководители республиканского ранга и выше. За их спиной Припятский горком партии и горисполком вновь обрели уважение к себе как к государственной, конституционной — законной власти, несмотря на роль подхвата: кому из простых смертных известна эта роль?.. Вот почему, как и в дни аварии, собиралось на площади «народное вече», дающее ответы на многие вопросы: дозиметристы сообщали уровни радиации, врачи растолковывали тайну листочков с анализом крови, гигиенические меры и санитарные нормы, водители называли количество автобусов — 1100! — подготовленных для эвакуации припятчан, эксплуатационники рассказывали о гибели Владимира Шашенка и Валерия Ходемчука... Любая деталь: остановившиеся часы на уцелевшей стене, зафиксировавшие время аварии — 1 час 23 минуты, вода, оставляющая на руках и ногах радиационные ожоги, увеличение лимфоузлов и сыпь у детей — воспринималась как открытие ядерного века. И все же особой темой была праздничная демонстрация в Киеве...

Девятое мая ждали уже с долей отчаяния: отпразднуют — будут решать! Каждый день толпились под репродукторами с авоськами, в которых вместе с продуктами торчали бутылки «Каберне». Многие были навеселе. За магазином, где торговала вином молоденькая продавщица под присмотром милиционера, царило возбужденное оживление: красное вино выводит радионуклиды, водка убивает рак...

Получив от родных денежный перевод, мы решили уехать, не дожидаясь праздника. Стали прощаться...

К нам пришли бывшие соседи. Откупорили бутылку вина, но застолья не получилось: не было тем для разговора, кроме одной, да о ней предпочитали молчать, щадя друг друга. Так и сидели молча, и пили молча — каждый за свое и, конечно, за общее: пусть там все будет хорошо, чтобы вернуться домой... Свет не включали, хотя сумерки только усиливали ощущение горечи и заброшенности. Хотелось, чтобы, минув ночь, наступил рассвет. Очень хотелось, хотя мы и не знали, что утром придут автобусы и увезут беременных женщин и детей. И вновь всколыхнется село разноречивыми слухами, а напряжение неопределенности — что дальше? — прорвется ссорами, стычками, внезапными вспышками гнева, слезами и обидами. И вновь мы заполним площадь, но уже с чемоданами и сумками, чтобы дожидаться единственный, переполненный автобус и, оглохнув от крика и брани, вернемся домой ждать следующего утра. И так несколько дней, пока не уедем на попутной машине в Полесское.

От Полесского в Киев автобусы шли один за другим — рейсов было столько, сколько собиралось пассажиров. Женщины, не пожелавшие расстаться с детьми на неопределенное время, спешили увезти их в города и деревни — лучше в деревни! — к своим матерям, свекровям, братьям и сестрам. Главное —

подальше, хоть на край света, как будто там, на этом краю, первозданная чистота воздуха и земли, девственное целомудрие природы. А здесь враг, спрятавшийся за словом «радиация», не имеет ни облика, ни конкретности беды, которую несет. Он невидим и неслышим, но он везде: в реке, на траве, на листьях и плодах деревьев. Он сделал соучастниками и реку, и траву, и деревья. Он изуродовал и природу, и лица. Он проявил в глазах и лицах, не приукрашенных косметикой, — умывались по несколько раз на день, — тупой страх, не подчиняющийся здравому рассудку, обнажил тайное, глубинное — и это человеческое естество вызывало не только гордость и уважение, но и отвращение, гадливость. «Нет ничего безопаснее и прочнее, чем деньги, — грассировала белокурая женщина, — это единственное спасение в наш обездушенный век...». Ей возражали, но ее слушали и даже соглашались.

На очередном КП автобус отправили под «душ» — люди в защитной одежде направляли мощные струи воды, смывающей радиоактивную «грязь» с корпуса и колес. Почему-то вспомнилась сказка о «живой и мертвой» воде: в эти дни вода вернула людям память о своей живительности, целебности, стала единственным доступным всем средством из глубоких деревенских колодцев, покрытых полиэтиленовой пленкой — средством избавления от пыли, оседавшей на лица, волосы, одежду. Обувь не меняли, несмотря на предупреждения дозиметристов: где взять столько пар туфель и сандалий, чтобы переобуваться почти ежедневно. Зато стирали постоянно — безжалостно терлись рубашонки, маечки, пеленки, трещали по швам, расплзались, а после — чинились, штопались, латались. Грязную воду после стирки выливали на землю — «мертвую» воду — с надеждой, что земля оживит и ее. «Мертвую» воду, стекающую с автобуса, собирали в отстойнике. Доверчиво смотрели на эти тугие струи, бьющие из шлангов, с благодарностью — на людей в грубой резиновой одежде и противогазах, с просветлением — друг на друга, словно только что пережили очищение от грязи и скверны...

До Киева добрались без приключений. Около урны переобулись, побросав в нее завернутые в целлофан растоптанные туфли, и, не поднимая глаз, направились к троллейбусу. На нас смотрели как на диковинку. На нас оглядывались. От нас отодвигались подальше. Многие вышли на первой же остановке. Мы отнеслись к этому с полным безразличием, тем более, что вид у нас, мягко говоря, был действительно странный: мама в тапочках, плаще и теплом платке, дочь в ситцевом платье, куртке и берете, натянутом на уши, моя светлая куртка даже у меня самой вызывала брезгливость. К тому же нас занимала единственная мысль: как купить билеты на самолет?..

В аэропорту — столпотворение. Ревущие толпы металась от одной кассы к другой. Разноголосно плакали дети, ползали по полу, искали матерей, сдавленных неуправляемой очередью. Редкие мужчины, как правило, киевляне, энергично работали локтями, яростно отрывая от себя сдерживающие чужие руки. Начальник аэровокзала уже не выходил из кабинета, исчерпав все силы на уговоры и объяснения. Жалкие, растрепанные милиционеры силились отодвинуть толпу от дверей, не отвечая на незаслуженные упреки.

Оставив маму с девочками, я поехала на железнодорожный вокзал. Здесь было еще хуже... С трудом протиснулась в здание вокзала и остановилась. И тотчас на меня зашикали со всех сторон, подталкивая локтями и сумками. Между рядами кресел ходили милиционеры, предлагая желающим отдых в гостиницах Киева — автобусы ждали у подъездов, в гостиницы селили бесплатно. Позаботились о людях и на вокзале: работали буфеты, комнаты матери и ребенка, аптечки. И лишь поезда не могли вместить всех пассажиров враз.

Я вернулась в аэропорт. Мы уселись на сумки, расставшись с какими бы то ни было надеждами улететь сегодня, завтра, послезавтра... Однако к вечеру объявили о дополнительных рейсах. Люди успокоились. Всю ночь взлетали самолеты. Мама с дочерью и племянницей улетели в Тюмень, где, по прогнозам синоптиков, шел мокрый дождь со снегом, на дорогах гололедица, резкое похолодание, возможны метели и снежные заносы...

Раздав последние рубли плачущим женщинам, я вышла на улицу. Высоко в небе сияют звезды, именитые и безымянные, но равновысокие и равнонеобходимые и небу, и земле. Между ними движутся красные мигающие огоньки самолетов... Очнувшись, пытаюсь вспомнить сегодняшнее число — последние дни слились в единый сумбурный клубок, выкативший меня за пределы способности воспринимать окружающий мир как реальность. Кружится голова — и звезды стремительно несутся к земле, раскачивающей меня из стороны в сторону. Я ловлю воздух открытым ртом и приседаю, чтобы удержаться на ногах... Кто-то поддерживает меня под руки и что-то говорит. Голос успокаивает землю — она перестает качаться. Засунув руки глубже в карманы брюк, направляюсь к почти пустому автобусу, чтобы уехать в Киев. Никто не ждет меня, но ехать некуда, да и сил на большую горечь нет... В дверях оборачиваюсь: на том месте, где я только что стояла и смотрела на небо, — одинокая фигура милиционера.

В автобусе тепло и уютно. Мои — на полпути к «краю света», где метет метель, дует ветер, но нет пыли, нет страха, нет слез. Что еще человеку надо?

...Лишь через несколько дней вспомню я руки, поддерживавшие меня около аэровокзала — руки милиционера, руки незнакомого мне человека. Прошло всего двадцать дней после аварии, тысячи людей — перед глазами. Трудно вспомнить лица, имена. Но качнется земля — и раздастся рядом голос человека, появляется фигура милиционера... Никогда раньше не задумывалась я о будничной работе людей в милицейской форме — двадцать дней рядом со мной постоянно были милиционеры: тушили пожар на поврежденном блоке, вывозили из опасной зоны, регулировали работу автотранспорта, сочувствовали, помогали, оберегали, поддерживали... И все это вмещается в понятие долга — служение законности и справедливости, служение людям. И я не могу не вернуться в зону — мы все должники друг перед другом.

...На первое комсомольское собрание работников Припятского ГОВД после аварии пришли не только комсомольцы и коммунисты, но и многие беспартийные. Оно было короче обычных, самых коротких, но значительнее и напряженнее: за каждым скучным словом — недосказанное, но понятное и близкое всем, потому что пережили — вместе, побеждали — вместе. Беззаветное мужество при тушении пламени на крыше машинного зала проявили пожарные, самоотверженно действуют экипажи вертолетчиков, бригады врачей, коллективы цехов Чернобыльской атомной электростанции, строителей, городских и районных отделов внутренних дел области и республики — борьба с вышедшим из повиновения атомом еще продолжается, работа ведется круглосуточно, хотя самое страшное уже позади. Позади и самое главное — обеспечение безопасности населения, возложенное прежде всего на работников милиции. Только не итоги подводятся на комсомольском собрании — решаются дела дня завтрашнего, не речи говорятся — держится совет... Ведет собрание секретарь комсомольской организации лейтенант милиции Владимир Яковлев. «Свой служебный и гражданский долг при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС хочу выполнять коммунистом», — читает он строки заявления — собрание единогласно дает рекомендацию для вступления в кандидаты в члены КПСС старшему оперуполномоченному уголовного розыска Василию Дмитриевичу Тарасенко. Аплодисментов нет — есть понимание и уважение товарищей по службе: право называться и быть коммунистом доказано на переднем крае, на передовой.

Да, эти люди подчиняются приказу. Но только ли в приказе дело? В эти дни едва ли не чаще слова «радиация» звучало слово «доброволец»... Тогда, 29 апреля, милиционеры Припятского ГОВД получили указание покинуть город. Пришла смена. Но опять кто-то должен был остаться еще на несколько дней, чтобы ввести в курс дела вновь прибывших, познакомить с объектами и их особенностями. Тогда Василий Андреевич Кучеренко вновь должен был сделать непростой выбор, пусть из числа добровольцев. И он назвал семерых: Владимира Яковлева, старшего следователя Вячеслава Яковлевича Вашеку, участкового инспектора Леонида Николаевича Сержана, инспектора ИДН (инспекция по делам несовершеннолетних) Николая Качана, милиционера патрульно-постовой службы Николая Кириенко, оперуполномоченного

уголовного розыска Юрия Остренка и участкового инспектора Николая Мищенко, последние четверо — комсомольцы. Он назвал их, зная о подвиге пожарных...

Приехав из Киева в Полесское поздно вечером, я осталась ночевать в горкоме партии. «Заодно и подежуришь — я третьи сутки без сна, — сказал заведующий орготделом Анатолий Иосифович Герман, — в соседней комнате есть матрац...».

Часы пробили полночь. Я принесла Матрац и бросила на пол. Спать не хотелось. Села в кресло к телефону. Стол был завален бумагами. Прямо перед глазами какой-то список фамилий, некоторые цифры против них обведены красным карандашом. От нечего делать стала читать незнакомые фамилии: Кибенок... Правик... Лелеченко... Сердце дрогнуло: ребята из электроцеха рассказывали, что в день аварии Саша Лелеченко вместе с другими находился у поврежденного реактора, излучающего смертельные дозы радиации, — восстанавливали повреждения на силовом оборудовании: нужно было подать энергию. Рядом — вывалившиеся куски графита. Вода затоплила кабельные каналы. Срочно нужно было проверить трансформаторы, перекрыть задвижки подачи водорода. Он пошел сам, выгоняя молодых из цеха... В тяжелом состоянии его отвезли в больницу... Страшная догадка заставила машинально отдернуть руку от красного кружочка против его фамилии. Вспомнился телефонный разговор Германа с женой пожарника — в трубке слышался странный голос женщины, называвшей себя вдовой... Меня объял ужас: этих уже нет, уже — нет, Саши — нет... Я бросилась вон из комнаты, но в коридоре горкома партии было темно и тихо, и шагнуть в этот настороженный полумрак не хватало духу. Опустилась, оплыла на порог, спиной к столу, на котором лежит страшный список. Я не знаю, кто такой Кибенок, но я знаю Сашу — Александра Григорьевича Лелеченко, заместителя начальника электроцеха. Помню, как впервые пришла в дом Лелеченко — на день рождения его жены Любы, Любови Николаевны Матвеевой. Снимая обувь, прислонилась к стене — и закачалась на винтике с сорванной резьбой розетка. «Электрика в доме нет, — пошутила Любовь Николаевна, — зато на работу убегает чуть свет, а приходит затемно». — «Так ведь на работу — святое дело...» — улыбнулся Александр Григорьевич. А дело он действительно почитал и служил ему — об этом позднее, работая редактором многотиражной газеты, помещу я в ней статью Л. Малиновской. И он обидится на меня и не будет разговаривать полгода. А потом придет к дому и станет бросать в окно камешки... Простил, значит.

Воспоминания захлестывали: мы еще беспечно гуляли по городу, не веря слухам об эвакуации, а он уже заслонил нас собою — «работа — святое дело...».

Я переползла с порога на матрац и легла вниз лицом, зажав уши ладонями... Беда всегда остается бедой, каким бы массовым ни был героизм потом... Это — отнятая смертью жизнь или, иначе — жизнь, отданная не только во имя Родины и спасения тысяч и тысяч других, но и из-за преступной халатности, равнодушия к людям и делу, некомпетентности опять же других. Это — жертвенность, которой изначально можно было избежать. А смерть действительно выбирает лучших, потому что они первыми идут ей навстречу. Это — раненные болью глаза и души. Это — надломленные горем голоса молодых вдов, затаенная тревога за мужей и жен, отцов и матерей, друзей и любимых, сыновей и дочерей. Это — преодоление. Преодоление прежде всего самих себя... И не нужно пытаться начать жить сначала — нужно продолжать жить, но жить иначе: честнее, чище, разумнее и в то же время сердечнее, потому что нет чужой беды, чужой боли, чужой земли. Есть просто боль и просто беда. И одна Земля на всех... Преодолеть личное горе — конечно, мужество. Разделить, как личное, кровное, и преодолеть горе общее — героизм. И прежде всего героизм духа — основа правды и ее залог. Так боролись с бедой на Чернобыльской АЭС лучшие, те, что всегда первыми идут ей навстречу, преодолевая и страх, и усталость, и неизмеримо большую силу ядерной энергии, вышедшей из-под контроля и ставшей виной одних — и всех, платой одних — и всех... Преодоление. Преодоление сознания, своей пассивности, образа жизни, наконец.

Проверка не только на прочность, но и на доброту, милосердие, сострадание и — понимание. Проверка на звание человека.

...И вот я сижу на комсомольском собрании, пристально вглядываясь в лица милиционеров. Да, самое страшное уже позади, но умирают еще и сегодня. Они привыкли выполнять приказы, но разве на приказах держится мир, разве приказ послал людей к смертельному дыханию реактора? Сергей Романенко... Он был в отпуске, но, узнав об аварии, прибыл досрочно, как и Владимир Григорьевич Шмаков. Две недели без отдыха нес вахту Николай Николаевич Кононенко — и никто не мог отменить этот личный приказ. А сколько выпало на долю участковых Анатолия Семененко, Петра Николаенко, Алексея Мельника, работника ГАИ Владимира Иваницкого. Останавливаю взгляд на Василии Андреевиче Кучеренко — мой ровесник, наш современник, один из командиров переднего края. Должно быть, это удел честных, судьба преданных долгу, доля первых. Именно в этом — назначение милиционера, независимо от звания и должности. Но в этом и сила человеческого духа. И еще в том, чтобы не «не задумываясь», а сознательно зачислить себя в добровольцы и быть им.

Почти ежедневно прибывали добровольцы из различных областей Украины. Из райотдела милиции города Артемовска Донецкой области приехал капитан милиции коммунист Виктор Алексеевич Щилов. «На какую должность пойдете?» — спросил его капитан милиции Стельмах. «На любую», — ответил Щилов.

«Меня определили в службу БХСС, — рассказывает Виктор Алексеевич. — Первое, что бросилось в глаза, — это четкая организация работы в Припятском ГОВД. Я восемнадцать лет в милиции и знаю, что это значит, а тем более в таких сложных условиях. Высокая требовательность и вместе с тем бережное, доброе отношение к людям, искренняя забота об их здоровье и быте. Несмотря на то, что ГОВД стал своего рода воинским формированием, межличностные отношения как бы поднялись на более высокую ступень, стали теснее и прочнее. Сразу отмечают вновь прибывшие и самоотверженность майора милиции Кучеренко.

Сейчас в мои обязанности входит обслуживание строительного управления по ликвидации последствий аварии. Затрачены огромные материальные ценности — задействованы и экономические, и научные, и технические возможности страны. И задача ясна: все, что дает страна, должно пойти строго по назначению. Я далек от мысли, что в этих условиях кто-то будет греть руки, но нельзя допустить ни одного факта бесхозяйственности».

Потеряв дом, имущество, лишившись практически всего, что наживалось годами — в течение жизни, каждый человек сам определял цену потери: кто-то жалел город, кто-то только что полученную квартиру, кто-то со студенческих лет собираемую домашнюю библиотеку, кто-то драгоценности или деньги. И все это понятно... Меня же больше всего мучило сознание невозможности оставленных записей, черновиков, стихов. Из-за ложного страха перед паникой и боязни ответственности, руководители различных инстанций объявили об эвакуации... перед эвакуацией, и подготовиться к ней просто не было времени. Да и как подготовиться к тому, чего не знаешь?! Я буквально умоляла Василия Андреевича Кучеренко выдать мне разрешение на посещение квартиры. Зная, что те, кто работает в Припяти, имеют такую возможность и используют ее. Мои доводы были убедительны, и он наконец согласился.

Непостижимое «открытие» ожидало меня в пустом городе: некоторые квартиры были взломаны и разграблены... Слово «мародер» прозвучало как синоним слову «вампир»... Это была изнанка трагедии. Чуть позже узнаю я имена некоторых любителей пожить за чужой счет — Коваленко, Чайковский, Гуркин, Островский, Круковец... Их значительно больше, чем названо, а сколько, как говорится, осталось за кадром, не пойманными за руку, не уличенными в бесчестии. Не на пустом месте была подхвачена в эти дни фраза: кому война — кому мать родна... Страшная правда о человеке...

Беда, как это ни горько, рождает не только героизм, а экстремальные условия обнажают не только лучшие человеческие качества. И трагедия на ЧАЭС подтвердила это еще раз с потрясающей откровенностью и прямоотой. Да, чистые стали чище, честные — честнее, добрые — добрее, а бессовестные, как сказал поэт Иван Драч в одном из своих стихов, остались бессовестными. Приспособленцы всех мастей и рангов приспособлялись к новым условиям, прятались в отдаленных от переднего края кабинетах за мужество и добросовестность сотен и тысяч людей, — от этого множества безымянных; примазывались к славе бескорыстных тружеников, вновь говоря за них — молчаливых — длинные патетические речи о долге, о чести; почти на лету подхватывали быстро освобождавшиеся должности (первые и выбывали из строя первыми), размахивая указующими перстами, принимая и отменяя за один день не по одному десятку решений, опять прикрываясь занимаемой должностью. И эти преступления, к сожалению, не подходят ни под одну статью в Уголовном кодексе, хотя и выходят за рамки морали.

Были, а может, всплыли из болота вещиизма и безнравственности, а может, и родились и старые известные домушники, и новые не изученные «полесовщики» — «специалисты» по колесам от автомашин, вскрывавшие гаражи. Каждое колесо на толчке автомобилистов стоит от ста до ста двадцати рублей — доходное дело, бизнес. И не остановила мысль о том, что «грязь» на колесах может стоять кому-то жизни, — сильнее была мысль о стоимости колеса на черном рынке. Личные машины, оставленные владельцами на ночь за территорией пионерского лагеря «Сказочный» — места жительства вахтовиков, разбирались в течение нескольких часов — оставался один корпус.

И эти детали вскоре появлялись на рынках в различных городах не только республики, но и страны.

Любое подобное «открытие» ранило больно, но любая новая задача, новая нагрузка встречалась коллективом Припятского ГОВД с пониманием. Изнанка трагического события заставила всех глубже и честнее взглянуть на проблемы по соблюдению общественного порядка, сохранности государственного и личного имущества в зоне отселения. Были образованы комендатуры, осуществляющие пропуск транспорта с грузами в зону и досмотр его при выезде, — Припятский ГОВД обслуживал комендатуру в Диброве. Вся тридцатикилометровая зона была разбита на патрульные участки, куда входило несколько населенных пунктов. На этих участках патрулирование велось круглосуточно, чтобы пресечь попытки проникновения в дома и общественные заведения. Были и погони, и засады, и кропотливое расследование, все было, потому что был дефицит совести и чести... Но в лице милиции вершила правосудие Советская власть — справедливо и милосердно.

Эвакуированные... Так называют нас до сих пор. И будут называть еще долго. Что ж, пусть называют, только помнят, что стоит за этим названием.

Десять долгих дней

...И снова десять дней, которые потрясли мир. Перетрясли человеческое естество, сознание, основы бытия. Может, поэтому так трудно восстановить их в памяти. Одно памятно: длились очень долго.

...В магазине люди плотным кольцом окружили девочку лет шести и четырехлетнего мальчугана. Брата и сестру. Их эвакуировали без родителей.

Продавщица, пожилая женщина, со слезами в голосе спрашивала девочку, показывая ей нарядные платица: «Это нравится? А это? Посмотри, какое красивое... Какое ты хочешь взять?»

Девочка молчала, все ниже и ниже опуская голову. Братишка прятался от сотни глаз за спину сестры.

Люди обменивались догадками.

— Мать их вроде как на автозаправке работала. На смене была в ту ночь. Ее никто не сменил. Уйти не могла — надо было заправлять машины.

— Говорили о какой-то заправщице... Почти ползла домой. Ее «скорая» подобрала.

Девочка исподлобья оглядела толпу и направилась к выходу. Люди, охая, расступились.

«А курточки? А платица?» — бросилась за ней продавщица.

«Упакуйте все, что надо, — остановил ее мужчина в плаще и шляпе. — Завтра детей вывозим. Я сам отнесу. Дети мать ждут, что им обновки...».

...Совсем рядом резко затормозила машина. Четверо в белом. Меловые лица. Не сразу узнала бывшего главного энергетика стройки, потом инженера ЧАЭС Анатолия Зоммера.

— Вы куда?

— Сейчас у всех одна дорога, — ответил Анатолий, открывая дверцу машины.

— Ну, как там?

— Сложно. Есть опасность нового взрыва. Только между нами — тревог и так хватает. Там академик Велихов колдует. Говорят, толковый. Но таких сюрпризов и в мировой практике не было. Реактор поврежден. Раскален, как пасть дракона. Радиация. Забросали сверху месивом из песка, глины, свинца и бора. А это дополнительная нагрузка на конструкции. Только бы выдержали этот пресс! Мы молиться готовы — только бы выдержали. В бассейне-барбатере может быть вода. Если рухнет... Все работают на износ. Дорога каждая минута. Откачивают воду, бурят скважины, готовят «зону охлаждения»... Ну все, пора ехать. А вообще-то, обними нас на прощание, кто знает...

Кто был в машине еще — не помню. Целовала в лоб. Долго смотрела вслед — заговаривала.

...Киевским метростроевцам были поручены работы по замораживанию грунтов под разрушенным зданием реактора. Рассказывает Федор Кириллович Цимох: «Надо было рядом с реактором номер три, который цел, вырыть котлован в песчаных грунтах глубиной до шести метров и длиной до тридцати метров, чтобы дать буровикам возможность забурить скважины. Двадцать две горизонтальные скважины по сто восемьдесят шесть метров. Прямо под реактор. Минувя днище третьего, под четвертый, разрушенный. Работы велись круглосуточно, в пять смен. Каждая смена работала по пять часов... То, что было нам поручено, мы выполнили с честью. В срок. Конечно, мы принимали меры предосторожности. Перед тем, как идти в зону, мы узнавали радиационную обстановку и Старались там, где самое опасное место, людей понапрасну не задействовать. Например, механизаторы только в нужный момент

вызывались и получали задания. А если работы не было, уходили в защитные сооружения, где маленькая радиация».

Для отвода грязной воды на третьей очереди бетонировали канал Василий Иванович Кривородько и Александр Григорьевич Федоренко. Правда, он не был использован из-за фонового загрязнения. На одиннадцатый день один из них скажет: «Дорогой ценой оплачены эти десять дней. Новой беды не произойдет. Только и «старой» хватит на всю оставшуюся жизнь. А если объявят победой эту трагедию, пусть через год, через пять или даже десять лет, и люди поверят — значит, многое было впустую...»

Но уже через двадцать дней я прочту в газете: «— До сих пор не могу поверить, что в реакторе произошел взрыв. Конструкция надежная, с точки зрения безопасности — тройное дублирование. Физики, казалось бы, предусмотрели все, но тем не менее авария... Нет, не укладывается в голове! А может быть, настолько привыкли к атомной энергии, что считаем ее обычной?! Но мы не должны забывать, насколько сложна атомная техника...

Мы разговариваем с одним из наших прославленных атомщиков...

— Будем работать, — коротко заключил он. — Надо готовить к пуску первый и второй блоки, внимательно изучить обстановку в тридцатикилометровой зоне — в некоторых районах радиации нет. Так почему люди должны где-то скитаться? Пусть возвращаются домой и нормально работают. Ну, а там, где уровень радиации повыше, необходимо срочно проводить дезактивацию. В общем, пора начать решительное наступление...» Имя прославленного атомщика осталось неизвестным...

А еще через двадцать месяцев поедет Елена Ващенко прощаться с отцовской хатой на станции Янов, а старый отец внезапно споткнется и схватится за сердце... И вот уже вместо села — «футбольное поле». А когда-то на месте станции был огромный луг, где маленькая Ленка вместе с другими ребятами пасла гусей, плела венки и нанизывала на нитку красные ягоды шиповника...

Может быть, не понимает она, насколько сложна атомная техника, вот и плачет с отцом. Обнявшись. А про десять дней после аварии вообще не говорит.

«Мы сами ничего не знали»

Мария Григорьевна Боярчук — уроженка Чернобыльского района. Работала в райкоме комсомола в Новых Шепеличах — пешком исходила этот край, добираясь в самые отдаленные села; потом — учителем украинского языка и литературы, возглавляла партийную организацию школы. В тридцать восемь лет стала секретарем Припятского горисполкома. История края творилась на ее глазах. Вот ее монолог «о времени и о себе».

* * *

В ту ночь позвонил нам домой хороший знакомый и сказал, что упал блок. Мы как-то даже и особого значения не придали его словам. Вышли на балкон с мужем и стали смотреть. Смотреть, как горит. Настолько были беспечны... И вдруг до меня дошло, что на станции в реакторном цехе работает мой зять, сейчас он тоже может быть на смене. Послала мужа к Наташе, старшей дочери, узнать. У меня к атомным станциям особое отношение. Недоброжелательное. Думаю, что имею право на такое отношение: два зятя погибли на АЭС, муж старшей на Ровенской, а младшей дочери — на Смоленской. Нет, не во время аварий. Но от нарушения людьми техники безопасности... Уже в Припяти погиб сын — ученик третьего класса, десять лет было...

Послала я, значит, мужа к Наташе, а сама стала звонить Владимиру Павловичу Волошко, председателю исполкома. Было около двух ночи. Что случилось? — спрашиваю. Он: да беда, но еще толком ничего не знаю. Стала звонить Владимиру Константиновичу Кононыхину, зампреду. Вроде как поднимаю всех своих, хотя тревоги особой не ощущаю. Тут мне Волошко позвонил уже из исполкома: собирайтесь... Я еще перезвонила жене нашего Толи-водителя и побежала. Минут в пятнадцать третьего уже была в исполкоме. Волошко: собирай аппарат, всех заведующих отделами и Валерия Семеновича Иващенко — начальника штаба гражданской обороны исполкома. А я не готова срочно выполнить задание: не знаю, где Иващенко живет, адреса у меня нет, помню только, что в двадцать первом общежитии. Поднимаю заведующую общежитием — и уже через двадцать минут Валерий Семенович был в исполкоме. Вот такие люди — даже никто не спросил, зачем ночью в исполком...

Волошко начал совещание. Случилась беда, не могу пока сказать какая, но это плохо. Упал блок. Не знаем, что с реактором. Я, конечно, своими словами передаю суть... Волошко приказал подготовить все документы и данные по количеству проживающих в каждом доме. Мы, говорит, должны свое дело сделать, хотя и ничего не решаем.

Мне было поручено работать с людьми, то есть оставаться в кабинете и поддерживать связь. Забегая вперед, скажу, что все расчеты по эвакуации у Иващенко были готовы. Но группа работников исполкома еще раз все уточнила. В 18.00 все эти данные легли на стол перед Волошко. А в 22.00 уже стояли готовые автобусы.

Утром собрались на совещание вновь. Но уже были товарищи из Киева, из партийных органов, из облисполкома. Пришли и наши депутаты — мы еще в четверг объявили для себя субботу рабочим днем, было много работы по подготовке сессии. На 28 апреля готовили сессию. О радиации на этом совещании тоже не было сказано ни слова... В городе, как обычно на выходные, было намечено много мероприятий. Заспорили. Один говорит: отменять. Другой: не отменять. Меня что поразило... Задала этот же вопрос уже после спора и директор четвертой школы Голубенко — в школе большое мероприятие, придут дети. Все решил секретарь обкома партии Маломуж: проводить. А нам здесь же сказали, что нужно закрыть дома окна и меньше находиться на улице. Людей не тревожить, а то поднимут панику... Зашла я после этого

совещания довозмущаться к Кононыхину. Прибегает Герман, заведующий орготделом горкома партии: Николай Михайлович Жирный (это председатель горспорткомитета) отказывается проводить спортивный праздник, примите меры... Попытались мы и его уговорить. Куда там: не сейте панику... Вот так было. В этот день только двенадцать свадеб люди справляли... Ночью приплелась домой. Конечно, мы не могли объявить официально, что случилась настоящая беда и нужно принять меры защиты. Нам этого не позволили. Но людям говорили: и депутатам сказали, и начальникам ЖЭКов, и другим. Но совесть мучила и было трудно уснуть, хотя усталость такая, что все болело.

На другой день, 27 апреля, прилетел заместитель Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербина и провел в девять утра совещание. Объявили об эвакуации, выработали текст обращения к гражданам Припяти, но о радиации — есть или нет, какая, на сколько уезжаем из города — никто нам ничего не говорил. Волошко как бы от всего отстранили, негласно так, хотя он являлся начальником штаба гражданской обороны города. Я что хочу сказать: мы уважали свое руководство. Волошко уважали, хотя у него были недостатки. Как у руководителя, у него и ошибки были, и недоработки, но ведь болела душа за город. Он нас научил работать. Порядку научил. Говорил, что если у работника исполкома даже на столе хаос, то от такого работника трудно чего-то ожидать. За чистоту города головы с нас снимал. А человек был добрый. Уважали мы его, все скажут. К первому секретарю горкома партии Александру Сергеевичу Гаманюку у меня симпатии не было: трудный человек и работать с ним тягостно. На Волошко за требовательность не обижались — она была справедливой. Я никогда легкого хлеба не искала, но с людьми работать непросто. Волошко и этому учил: подходить к человеку индивидуально, учитывать все его обстоятельства и особенности. Терпеть не мог, когда стригли под одну гребенку...

В 13.00 передали по местному радио обращение к гражданам Припяти. За мной был закреплен второй микрорайон, и я находилась там; были из милиции... Всего, по-моему, четыре человека. Мы заходили в каждый подъезд и проверяли, нет ли закрытых квартир. Закрытые были, и мы их брали на учет. В половине пятого, то есть в 16.30, я доложила, что второй микрорайон эвакуирован. Прибежала домой, говорю мужу: поезжай. Без тебя, говорит он, никуда не поеду. И то мне легче... И снова в исполком. Мы оставили и запасные автобусы, чтобы вывозить оставшихся: кто в деревнях был, кто в лес ездил, кто на даче. Еще до позднего вечера отправляли людей...

И вот в двенадцать ночи иду домой. Темнота страшная — электричество же отключили, нигде ни одного огня. Вот тут и меня силы покинули. Прихожу, а муж сидит у окна и смотрит на темные окна соседнего дома. Мне это все таким жутким показалось. Затянули мы простынями окна, зашторили. Муж спрашивает: и что мы здесь делать будем? Я: у меня еще железнодорожная станция Янов, начальнику станции было поручено вывезти людей на Вильчу, он доложил, что восемь семей осталось, отказались эвакуироваться. Я заплакала. Я столько плакала за детей и внуков...

В шесть утра, это 28 апреля, прибегаю в исполком. Волошко посылает на Янов. С Петром, юристом нашим, еду. Подъезжаем к хате Назара Клочко, он без ноги, участник войны. Сидит Назар на скамеечке возле хаты и смотрит на мост. А на Янове плохо было, это уже потом я узнала. Села я рядом и давай уговаривать. А Назар свое: где ты видишь радиацию, никакой радиации нет. Я ему: вы же больной, умрете здесь. Сердится: никуда не поеду, умру — так на своей земле, у меня баба Мотя, двое свиней, огород — проживем. Я свое: мы отвечаем за вашу жизнь... Он: я сам за свою жизнь отвечаю. Написал расписку и зовет завтракать...

Пошла к Семену Бабичу — он парализованный. Бабка ни в какую: куда я его повезу, кому он нужен, кроме меня, такой, это наша земля, здесь родились, так лучше и умрем здесь. Хоть плачь, а бабка свое: поедут соседи, поедет Назар — тогда и мы...

Всех обошла — восемь расписок. Но людей жалко. Надо что-то делать. Волошко говорит, что надо связаться с медиками, может быть, и с работниками милиции, оставлять в зоне повышенной радиации никого нельзя. Очень тяжело мне было в этот день. До слез жалко стариков было, но вязать же не будешь. Да и в Полесском нас уже ждали люди... Да, Назар Ключко прожил в Янове до 19 мая, остальные уехали раньше. И еще бабка Зуихина пряталась у племянницы в сарае, до середины июня прожила, правда, племянница ей с Вильчи тайком носила продукты, через все кордоны проходила.

Сложили мы с Волошко секретку, закрыли кабинеты, опечатали и 29 апреля на попутках добрались до Полесского. Наши работники уже там расположились. А с чего начинать? Что делать? Со всех сел Иванковского и Полесского районов ринулись люди к нам с теми же вопросами. А что ответишь, когда сам ничего толком не знаешь... Обижались на нас за это, но мы ничего не решали... А еще сигналы идут, что в Припяти люди остались. Надо и в Чернобыле побывать по делам, и в Припять ехать, и в другие точки. С ума можно было сойти. Думаете, не жаль было испланных, растерянных женщин, обеспокоенных судьбой детей. Еще как — а помочь, кроме слова, ничем не можешь. Сердце болело.

Меня в Полесском оставили заниматься пенсионерами, участниками войны и инвалидами. Такая моя доля... То есть и судьба, и часть дела по оказанию помощи пострадавшим, эвакуированным. Нужно было куда-то расселять людей, направлять. Как я могла все выдержать? Народ — валом валит, раздеты, многие без документов, без денег. И мы стали выдавать вместо документов справки, что они жители Припяти. Без документов не проедешь, не устроишься даже временно, чиновники везде есть, на слово не поверят.

Вот тут узнали мы и другое: кто есть кто и из работников исполкома. Работы было по горло, и себя не щадили Светлана Михайловна Кириченко, Фатима Хосолтовна Курбанова, Валентина Лысенко. Зато такие коммунисты, как Паньковская и Нигай, думали только о себе. Особенно меня возмущало поведение Нигай: как она могла говорить о порядочности, о долге, о чести! А на проверку оказалась гнилой внутри. Хотели мы ее наказать, да горком партии не прислушался к нашему мнению. Многому научилась, многое поняла я за те дни: не с теми мерками чаще всего подходим мы к человеку, не с теми... Поздно, конечно, поняла, но лучше позже, чем никогда. Утешаю себя и тем, что сделала все от меня зависящее тогда и делаю сейчас. С работников исполкома спрос особый: люди нас выбирали, чтобы мы им служили, защищали их интересы. И когда такая беда — тем более не имели морального права быть не со всеми...

Хлебнули все... Но и тогда мы еще верили в свое возвращение, еще в июне верили. Информация была очень скудной и чаще всего оптимистической. Да и хотелось верить! Домой хотелось! И ответственность свою понимали, и работали наши люди на ликвидации последствий аварии самоотверженно. Они же очень трудолюбивые в основной массе: такие болотистые места, целину обжили, построив дачи, засадив пески фруктовыми деревьями. Летом на пляже не часто лежали — спешили в лес за грибами, за ягодами, на дачи опять же. Я тоже считаю, что у нас был райский уголок. Как же не хотеть вернуться?! Только не надо было обнадеживать людей возвращением: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Возвращением жили. Наши люди в большинстве патриоты города. И было больно узнать, что опять обманули...

Тут стали мы, опять же без документов, выдавать по двести рублей. Возвращаться некуда... А жить как-то надо. Конечно, нашлись и такие, что получали эти деньги дважды. Нас, работников исполкома, можно ругать за это, за невнимательность, что ли. Только ведь тысячи нуждались, и всем нужно было помочь быстро. Эти тысячи ждали за дверью кабинета, а не на диванах и в креслах.

Считаю, что наше правительство оперативно приняло решение о расселении людей и обеспечении их равноценным жильем. Одного не учли, просто не могли учесть, что в Припять в свое время были переселены жители Чернобыльского района, из сел Нагорцы, Подлесный, Семиходы... Город рос за счет территории этих деревень. Они слезно просили оставить их в Киевской области, это их земля. Могли, наверно, помочь в этом вопросе республиканские власти... А люди на меня лично обижались, меня ведь

все знали. Очень много неприятностей из-за этого до сих пор имеем, хотя объясняли, что есть указание: в Киевской области поселять инвалидов войны и труда I и II группы, инвалидов труда I группы и вдов погибших. Плачут. И я их понимаю — сама бы такой была, окажись где-нибудь в Херсоне, без своих людей и мест. У меня мама в Денисовичах живет — Антонина Маркияновна Лавриненко, ей семьдесят один год. Их село в районе зоны, но там на диво чисто. Она грибы собирает и сушит, варенье варит. Во дворе калина растёт, ягоды краснющие да крупные. Красота такая! И я рада, что их село не тронули. В другом месте она с тоски помрет. Тоска для стариков страшнее радиации. И отец мой там похоронен... У других тоже родные могилы там — этого нельзя не учитывать, не мелочный вопрос, это один из истоков нравственности. Нам повезло, что оставили в Ирпене. А людей я понимаю. Все больно, очень больно.

Обидно и то, что некоторые журналисты упрекали исполком в бездействии, в поздней эвакуации. Повторюсь, что мы ничего не решали, мы исполняли указания и в первые дни после аварии, и по расселению, и по компенсации. Что-то делали не так... Но не потому, что были бездушными или безответственными, а потому, что не знали как. Кто нас учил, как вести себя в такой беде? Однако мы знаем людей, а в такой обстановке с каждой семьей нужно разбираться отдельно. Что мы и делали. И опять же не все люди честные, совестливые, есть и такие, что за горло берут... Хотя исполком вины с себя не снимает.

Вот мне случай вспомнился. В Семиходах остались две бабки, родственницы: Варвара Ивановна Горбач, вдова погибшего, и Анна Павловна Ображей. Они за речку убежали, спрятались и жили. Приезжает в конце мая сын Михаил и грозит: вывезите мне мать и тещу, а то буду жаловаться, как вы к людям относитесь. А почему, говорю, ты их бросил, сбежал? А он: а куда бы я их забрал, мне самому было трудно... Не захотела я больше с ним говорить. Зову мужа: давай, Иван Захарович, помогай жене. Поехал с ним, с моим Боярчуком, и Петро Шевчук, юрист наш, что в Янов со мной ездил... И еще двоих мужчин-добровольцев нашли. Подъехали на автобусе к хате, идут в респираторах, костюмах. Бабки во дворе, тут же корова, бычок, свиньи, куры — хозяйничают. Узнали Ивана Захаровича, успокоились, но ехать отказываются. Он им сказал, что Миша за Припятью ждет. Бабкам по восемьдесят лет, а нагрузили по три мешка. Одна как была босиком, так и поехала. Везут их. Бабки плачут. А как узнали, что Миши нет... Привезли их в Лубянку, померяли... И сами грязные, и вещи грязные! Доехали до Полесского. Варке, скорее от страха, плохо стало. Я вызвала «скорую», забрал их главврач. Пролежали они в больнице три недели. Кровь плохая. У Варки, например, лейкоциты один и девять... Но поправились, дело к выписке. Раз даю детям телеграмму — нет ответа. Другой раз — нет. Потом прослышала, что Миша этот ездил живность забирать, а мать с тещей так и не стал искать... Наконец брат приехал и забрал.

Варка квартиру в Ирпене получила. Как встретит, так благодарит: никогда не думала, что буду жива, похудела маленько да ногти с пальцев на ногах послезали, а так ничего, спасибо... Это она говорит. Обулась теперь, а то даже в Припять босиком ходила. А Миша тот так и не отозвался...

Но я отвлеклась, хотя именно этот эпизод вспомнился мне не случайно... После расселения началась выплата компенсации за утраченное имущество. И здесь все очень сложно. И здесь много жалоб и справедливых, и несправедливых — от тех, кто обманом получил деньги, урвал у государства. И по выплате компенсации опыта в стране нет. Такой нюанс, например: одни проработали лет сорок, вдвоем, и получили семь тысяч, другие, тоже вдвоем, ничего не имели и жили в общежитии, а получили тоже семь тысяч. Думаю, что это неверно. Было опять же много переплат. Почему? Написал человек заявление, ждет. Проходит месяц, другой, третий. Нет денег. Пишет вторично. У нас десятки тысяч заявлений — найти непросто. Притом люди сменяются постоянно, уже прикомандированные работали. Только научатся — уезжать надо, на смену — новые. А люди торопят: идет зима — нужно купить одежду, получили жилье — нужно купить от мебели до иголки и ниток. А мы повторное заявление посылали на оплату. А там и первое находилось. Не все получали по два раза, многие понимали, что это ошибка, сообщали или сразу

возвращали деньги. Но есть и хапуги. Однако мы сейчас все незаконные деньги возвращаем: было свыше 700 тысяч переплаты, сейчас три десятка тысяч осталось вернуть. Помогают нам админорганы, прокуратура. Вот, например, бывший секретарь комитета комсомола управления строительства... Жил в общежитии один, жена училась и жила в Киеве. А он подал заявление на себя и жену. Пришлось незаконно взятое у государства и людей вернуть... Со всех концов страны перечисляли на счет 904 люди свои трудовые, честные деньги — не должны они лежать в кармане у проходимцев и лгунов. А их, к сожалению, немало...

Особый разговор о молодых. Тринадцатого марта из Ладыжинского училища работников торговли Ивано-Франковской области приехали в Припять на три месяца на практику учащиеся, в основном девочки. Им тоже разрешили выплату компенсации по перечню утраченных вещей. Что берет с собой человек на три месяца, да еще летом? Шубу, шапку меховую, трое джинсов? Конечно, нет. А в перечне указывались эти вещи. У всех практически были такие дорогие вещи и так много — на сумму до трех тысяч и более, что их машиной нужно было бы вывозить. А ведь приезжали с сумками. Мы, конечно, проверили, опросили мастеров, завуча училища. Девочки уменьшили перечень до сотен рублей. И получили за действительно утраченные вещи. Но сама попытка обмануть государство во время такой страшной беды потрясает настолько, что не хватает слов. Нет уважения к таким! За прилавок встанут безнравственные продавцы.

Попытались воспользоваться моментом и некоторые учащиеся Припятского СПТУ, жившие и получившие образование за счет государства, ходившие в казенной одежде...

Припятский исполком сложил свои полномочия 21 июня 1987 года. Для продолжения работы осталась оперативная группа при Ирпенском горисполкоме по городу Припять. Я ее возглавляю. Выплачиваем компенсацию тем, кто возвращается со строек Сибири и Дальнего Востока, из-за границы, решаем вопросы их поселения. Кроме этого, у нас было пять гаражных кооперативов, в личном пользовании граждан — свыше трех тысяч легковых машин, у сотен людей — мотоциклы, моторные лодки. И за это выплачиваем компенсацию.

Очень хочется верить, что не будет больше таких случаев, таких аварий, таких бед. Я не физик, не энергетик. Но ученые в большом долгу перед землей, и не только перед этой — атомные станции построены в густонаселенных районах, под водохранилища уходят и плодородные земли, а блоки везде одинаковые. И нет в них веры! Но уж раз случилось горе такое, давайте же не будем обманывать друг друга. Нужно прежде всего выяснить всю правду и об атомных, и о положении на Чернобыльской АЭС, и о поведении людей в экстремальной ситуации. На будущее. Для себя я вынесла твердое убеждение: нужно видеть каждого человека, к каждому подходить индивидуально, нельзя мерять по шаблону, кабинетными мерками.

Лес рубят — щепки летят

— Я всегда считал себя крепким, волевым человеком, хотя судьба никогда не баловала. А сейчас воля моя парализована. Иногда такое отчаяние накатит...

...Он приедет ко мне через два года после аварии, сотни раз перебрав в памяти прошедшие дни, сотни раз расчленив их на часы и минуты, и лишь после того, как убедится, что действовал по совести и обстоятельствам. И не только как начальник автотранспортного предприятия 31015 (уже бывшего), но и как «односельчанин» жителей Чернобыльского района, где все знают всех по отцам и дедам, по делам и поступкам. А еще как муж и брат.

— Многие сейчас рассказывают о своем личном героизме... Я не боюсь признаться и в своем страхе за судьбы близких, и в своей тревоге: у меня был дозиметрический прибор. Не боюсь признаться и в ощущении разрушенности целого мира, которое появилось с началом эвакуации, а потом, от неопределенности и неизвестности, превратилось оно просто в высокое давление, сердечные боли, бессонницу и другие негероические недуги, — говорит Михаил Николаевич Сапитон.

Можно просто по-человечески пожалеть этого человека уже только за то, что он пережил и разделил вместе со всеми горе Чернобыля. И все же давайте вчувствуемся в эту судьбу, постараемся понять и только потом... Впрочем, попытаются быть бесстрастной и приведу только факты.

Шестого мая 1986 года в «Правде» появилась статья «Станция и вокруг нее», где, в частности, говорилось: «...Достойна высокого уважения работа начальника Припятского АТП 31015 М. Сапитона». А двадцать первого мая этого же года — статья «И работа, и жизнь...» тех же авторов, что и первая. Есть в ней и такой абзац: «Руководители Мин-автотранспорта республики, не разобравшись в обстановке, поспешили расхвалить начальника Припятского АТП 31015 М. Сапитона как умелого руководителя, проявившего себя в трудный час. А он, оказывается, не выдержал проверки, и коллектив потребовал освободить его от работы».

Оставим на совести журналистов их поспешные репортажи с соловьями, сувенирами из-под реактора, героями и «не выдержавшими проверки»... Все помнят эти первые разудалые пропагандистские статьи, порой абсолютно далекие от реальности, но тыкающие фактом и выводом: так, не задумываясь, нужно действовать! Неужели и впрямь со стороны виднее?

А если изнутри. «Министерство автомобильного транспорта УССР сообщает, что факты, изложенные в статье «И работа, и жизнь...» о поведении начальника... Сапитона М. Н. рассмотрены». Так начинается ответ министра автомобильного транспорта УССР П. П. Волкова в редакцию газеты «Правда». Далее читаем: «Установлено, что Сапи-тон М. Н. в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС действовал в соответствии с указаниями начальника гражданской обороны... и начальника Киевского областного управления автомобильного транспорта... В частности, работая при областном штабе автотранспортной службы в г. Чернобыле, обеспечивал подвоз вахтового персонала Чернобыльского района, а затем организовал работу Чернобыльской колонны АТП 31015 в пгт. Иванков.

В связи с ухудшением состояния здоровья и после освидетельствования в медицинских учреждениях Сапитон М. Н. обратился с заявлением об освобождении его от занимаемой должности и по согласованию с Припятским горкомом компартии Украины приказом начальника Киевского областного управления автомобильного транспорта № 18-а от 13.05.86 был уволен по статье 38 КЗоТ УССР.

В настоящее время Сапитон М. Н. находится на амбулаторном лечении. После его выздоровления будет рассмотрен вопрос о дальнейшем служебном использовании.

С требованием об освобождении Сапитона М. Н. от занимаемой должности коллектив автопредприятия в облуправление и в Министерство не обращался».

Есть у меня и еще один документ, под которым более пятидесяти подписей. «...На базе Чернобыльской автоколонны было создано АТП 31015. В составе колонны насчитывается 60 человек, большинство из которых вместе работают более 10 лет, некоторые с момента образования колонны (25 лет). Это высококвалифицированные специалисты пассажирского автотранспорта. После аварии на Чернобыльской АЭС автоколонна приняла активное участие в принудительной эвакуации г. Припять, станции Янов, сел Семиходы, Н. Шепеличи, Буряковка, в эвакуации г. Чернобыля и Чернобыльского района, осуществляла перевозку вахтенного персонала Чернобыльской АЭС, подвоз рабочих УС ЧАЭС и жителей района на вертолетную площадку для забора и погрузки песка, выполняло заявки предприятий и организаций.

После эвакуации автоколонны в пгт. Иванков коллектив продолжал работу по обслуживанию УС ЧАЭС и маршрутной сети Иванкова. Затем приказом по управлению автоколонна была передана в состав Бородянского АТП 31035, где мы работаем всем составом по настоящее время. С 13 мая, после увольнения по состоянию здоровья начальника автопредприятия Сапитона М. Н., который участвовал в эвакуации... и находился с нами круглосуточно, новое руководство АТП совершенно нас забросило... После возвращения незаконно оклеветанного начальника АТП Сапитона М. Н. на должность начальника Чернобыльской автоколонны, нами начали заниматься: проведено медицинское освидетельствование, налажено получение пайков, производится подбор и выдача одежды, выдана материальная помощь и т. д.

...Учитывая, что после медосвидетельствования мы признаны непригодными для работы в зоне радиоактивного заражения... просим перевести... оставив вместе...».

Даже имея эти документы, не решаюсь ставить точку. (Ярлык, приклеенный человеку, оказался прочным). Необходимы «мелочи», из которых складывались дни М. Сапитона.

Он — житель Чернобыля, был поднят ночью по тревоге начальником ГАИ. Предупредил свои автоколонны в Полесском и Чернобыле и помчался в Припять. Получил задание ждать распоряжений. Распоряжения поступали: собрать водителей — распустить, собрать водителей — распустить. Приехал работник обкома — совещание в исполкоме, на котором об эвакуации — ни слова.

Достал со склада дозиметрический прибор, стал проверять автобусы: на колесах — до трех рентген, на крышах — до пяти. Потребовал машину для дезактивации — назвали номер, разыскал ее на стройке — стройка работала: возводились пятый и шестой блоки. Начали мыть автобусы. Вскоре дозприбор на машине-мойке показал 25 рентген, и водитель уехал. Поступило распоряжение отправить пораженных в Киев. Собрал водителей: кто? Многие отказывались: больные заражены. Поехали водители Головченко и Слуцкий. День закончился: на часах 24.00.

27 апреля в 5 часов утра вновь состоялось совещание в исполкоме. Заместитель министра автомобильного транспорта УССР В. М. Рева объявил об эвакуации и о том, что местное автопредприятие участвовать в ней не будет — из Киева в Чернобыль прибывают более тысячи автобусов. Был создан областной штаб автотранспортной службы. М. Сапитон входил в его состав и, оставив Припятскую автоколонну на главного инженера, выехал в Чернобыль. Вскоре, после завершения эвакуации в Припяти, отдал распоряжение перегнать автобусы из города в Чернобыль и Полесское.

Как только скрылся за поворотом последний автобус с жителями Припяти, чернобыльцы бросились к автостанции: вывезите наших детей! М. Сапитон с начальником автостанции, севшей за кассу для продажи билетов, начали эвакуацию женщин и детей на свой страх и риск (или под личную ответственность).

28 апреля. Все автобусы на линии, в том числе и прибывшие из Припяти, но автостанция не пустеет...

У жены открылось кровотечение (до этого ее оперировала в Киеве профессор Кириченко). М. Сапитон звонит в исполком: разрешите увезти жену в Киев. Ответ: не разрешаю! Ты куда пропал, почему не в Припяти? Сапитон: а что делать в пустом городе, в кабинете? Ответ...

М. Сапитон везет жену в Чернобыльскую больницу, где узнает, что его сестра родила двойню.

29 апреля. С водителем Нечипоренко едет в Припять. В пустом исполкоме три руководителя. Получает нагоняй. Пытается объяснить: дети, старики, жена, сестра... Встречается с руководителями АЭС и управления строительства, узнает о их решении перебазироваться в Чернобыль. Эвакуирует Припятскую прокуратуру. Возвращается в Чернобыль и продолжает (самовольно) эвакуацию жителей до первого мая, затем — жителей Чернобыльского района (уже официально!) до пятого мая, параллельно организовав подвоз людей для забора песка и вахты из «Сказочного». Пятого мая отвозит жену в Киев и возвращается в Чернобыль, чтобы вывезти оборудование автоколонны в Иванков.

Приехал в Полесское. Конфликт с главным инженером, вызревавший многие годы, усугубился. Бесконтрольность и пьянство водителей убедило: коллектива уже нет, прежней работы тем более быть не может. Почувствовал: выдохся. И подал заявление об увольнении. В горьком партии дали добро и объявили выговор как самовольно оставившему Припять. Две недели отлежал в больнице и вернулся — в пятнадцатикилометровую зону, в Чернобыль. А 21 мая в «Правде» появилась статья «И работа, и жизнь...», правда, о жизни в которой мало вычитаешь, все о работе... С М. Сапитоном журналисты не встречались. А зачем? Что такое одна судьба в масштабах аварии? Да и не герой: удрал из опустевшей Припяти в плачущий, мятущийся Чернобыль; на высокий зов не откликался, слушая слабый писк новорожденных младенцев; объяснялся в любви своей жене прямо в больнице — это в его-то годы, в экстремальной ситуации! «Не выдержал проверки».

Слово сказано. И пошла писать губерния. И до сих пор пишет...

«Могем» и звезды»

...Двенадцатого августа 1985 года Александр Лелеченко получил свою первую награду — медаль «Ветеран труда».

«Работа оперативников требует глубоких технических знаний, потому что связана с мгновенным вмешательством в процессы производства, когда на раздумье — всего несколько секунд.

Даже в самой критической ситуации спокоен Александр Григорьевич, только сдвинутся брови над сузившимися глазами да ляжет на лбу озабоченная складка. А руки уже за работой, умные руки труженика. Значит, решение уже принято, единственно верное».

Это строки из статьи «Труженик», опубликованной в многотиражной газете «Трибуна энергетика» задолго до аварии... Из-за этой статьи обидится на меня Лелеченко, хотя написана она была рабочей его цеха Л. Малиновской. Я редактировала газету. Обидится всерьез — «разрисовали, что подумают рабочие...», обидится надолго — «мне эти комплименты до конца жизни не отработать...».

— Сколько бы ни работал Саша, все ему казалось, что мало делает, — рассказывает Любовь Николаевна Матвеева, жена, вдова... Мы сидим в комнате напротив друг друга. Но так трудно — глаза в глаза, когда они полны слезами, когда захлестывают воспоминания об одном... А Саша улыбается с портрета уголками губ. — Он и в свободное время чем занимался? Чертил схемы оборудования электроцеха, хотел усовершенствовать, упростить. Ночами сидел. Он вообще техникой увлекался, любил повозиться со своим автомобилем.

«Александр Григорьевич прекрасно знает электрооборудование, имеет богатый опыт работы. Он много сделал и лично для меня, будучи моим наставником, помог освоить новое дело, научил быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях. В прошлом году мне была присвоена высокая правительственная награда — медаль «За трудовое отличие». И я считаю, что это заслуга прежде всего Александра Григорьевича.

...Личным примером учит А. Г. Лелеченко работать вдумчиво, творчески, заставляя и других садиться за книгу, искать и утверждать себя как настоящих современных рабочих», — писала в статье Л. Малиновская.

«А Лелеченко и о безопасности людей думал. Обо всех, кроме себя. Надо было перекрыть задвижки подачи водорода. Никого не пустил, сам пошел... Это подвиг... Он думал о своих ребятах. Александр Григорьевич очень любил работать с молодыми, брал их в цех, учил. И все его очень любили — он был настоящим наставником. Так вот, Лелеченко внимательно следил, чтобы никто из его ребят не получил опасной дозы. Он буквально выгонял их из цеха, а сам не уходил... А потом уже еле держался на ногах, но, заметив наше состояние — по лицам, наверное, вдруг начал рассказывать анекдоты...»

— Это очень внимательный и отзывчивый человек, — рассказывал задолго до аварии старший дежурный электромонтер блока, проработавший с Лелеченко в одной смене около четырех лет. — И в то же время — очень требовательный. Иногда это вызывает недовольство, но обезоруживает еще большая требовательность руководителя к себе, та ответственность, с которой он относится к делу.

...Я рассматриваю фотографии и вырезки из газет, собранные в большом синем альбоме «Александр — защитник людей». Так мало в нем фотографий — не любил сидеть перед объективом, сложив руки на коленях, уступал только необходимости — для документов... Всего одна фотография неофициальная: дома, у стола с чертежами во время перекура — сидит, потупив глаза, и улыбается одними уголками губ.

— Во вторник Саня ездил в «Киевэнерго» — утверждал программу испытаний по электрической части. Оставшиеся дни пропадал на работе. В пятницу лег рано, попросив разбудить его без четверти одиннадцать вечера. Но встал сам. Уехал на станцию, — продолжает свой самый трудный рассказ Любовь Николаевна. — Ночью, часа в два, меня разбудил телефонный звонок. Мужчина спрашивал Юхименко. Ошибся номером. А мне как-то тревожно стало после этого звонка. Но вроде бы задремала. В пять утра Римма Хоронжук позвонила: «Тебе Саша не звонил? Алексея в два ночи забрали, там что-то страшное случилось...» Я позвонила на ЦЩУ — центральный щит управления. Ответили, что он в кабинете. Звоню туда: «Саша, что случилось?!» — «Ничего не случилось. Иди на работу».

Пришла я в школу рано, никого еще не было. А тут прибегают мать одного ученика, она в жэке работает: «Вы ничего не знаете?! Авария... Жертвы есть. Если вас будут вывозить из города, пусть учитель за моим присмотрит, он ведь болеет». Только она убежала — позвонила Дина Генриховна Хмелевская, заведующая горно: «Закрывать все окна, у входа положить мокрые тряпки, детей на улицу не выпускать».

Обычно я в школе допоздна сижу, а тут душа не на месте — еле до трех часов добыла. Прибежала домой. Саша дома. В спальне окна завешены. У него руки красные, шея красная, руки и ноги припухшие. Потом узнала: его семь раз мыли, оттирали... Накормила его. Пришел начальник смены Бондарь, а Саша опять на станцию собирается. Тот ему говорит: «Куда ты? Ведь ночь был...» — «Куда же кроме станции? Там все течет. Там же третий блок в опасности». И ушел. А его, оказывается, отправили в больницу, да он домой сбежал.

...Как много зависит и от одного человека! И неправда, что незаменимых нет. Есть незаменимые — и на них в первую очередь держится мир. В медсанчасти № 126 Припяти всю ответственность с первых минут аварии взял на себя Владимир Печерица — заместитель начальника по лечебной части. Когда-то он фактически спас жизнь моей дочери, подняв на ноги всех врачей детской поликлиники. Ответственность за судьбу ребенка взяла на себя его жена Наталья, тоже врач. Почти домашним врачом стала для нас Светлана Александровна Фролова.

Печерица не был добрым дядей, но он был и оставался человеком и врачом. Без него и в эту страшную ночь, и потом все было бы гораздо сложнее. «Привезли Лелеченко. Попросился выйти на крыльцо и выкурить сигарету. Вышел. Поймал попутку и укатил на блок». Не мог, не смел Печерица удержать его — Лелеченко был незаменим там, на станции, как и он сам здесь, в больнице.

— Вечером пришел домой, с друзьями. Я достала бутылку водки. Сидят они трое, за головы взялись. Тихонько разговаривают, про радиацию гово-рят, про дозы, но чтобы я не слышала, чтобы не волновалась.

Ночью спал плохо. Все ворочался. Болела голова. Сохло во рту. Тревожился — на станции не исключали возможность нового взрыва. Постоянно звонил телефон... Люди на балконах всю ночь переговаривались. Около здания ГОВД толпы милиционеров. Утром масса людей с детьми двинулась с сумками и чемоданами на станцию Янов.

Еще в субботу позвонила из Киева Лена, дочь. Мы в Полтаву собирались ехать. Саша палец к губам приложил, чтобы я ничего ей не говорила. Потом сам взял трубку: «Ленуся, мы в Полтаву не поедем, а первого мая я приеду за тобой».

Утром, это уже двадцать седьмое было, он снова пошел на станцию. Зашла женщина из жэка и предупредила об эвакуации. Я собрала документы и стала варить суп: придет же обедать... Открыла на кухне окно, стою с ложкой, пробую суп, а снизу на меня милиционер как-то странно смотрит... Я положила ложку и давай звонить Саше: «Я останусь с тобой, никуда не поеду». А он: «Нет, нет, Люба, езжай, три дня отдохнешь, свежим воздухом подышишь». Бодрым таким голосом говорит. И я-поверила. Голосу поверила. Подчинилась приказу...

...В школьные годы Саша Лелеченко учился в спецшколе военного типа — мечтал быть-кадровым военным, защищать Родину. После школы поступил в Харьковское летное училище, оправдывая и свою крылатую фамилию: от слова «лелека» — аист... Закончил училище штурманом авиации. И вдруг это решение: отправить выпуск в запас. Его-то, Саньку, в запас!.. Ну что же, пошел работать. Только есть ли такое дело, чтобы знания не требовало? Нет такого дела. И в 1961 году он поступает в Киевский политехнический институт.

На Полтавщине, в селе Степном, где родилась и выросла Люба Матвеева, за один день оформил он документы о браке и увез жену в Киев. В 1965 году родилась дочь, его тайная гордость, его царица Елена. А через год, закончив институт, махнул с семьей на Славянскую ГРЭС, где его помнят и до сих пор... Скромный человек, а заметный: улыбка у него особенная — по-детски доверчивая и открытая, за строгой сдержанностью угадывалась какая-то бесконечная незащищенность чуткой души. Отсюда и его обостренное чувство справедливости. Уважение к человеку.

Через десять лет, уже опытным специалистом, приедет он в Припять, на Чернобыльскую АЭС, заместителем начальника электроцеха станет позже. Приедет навсегда.

— Попала я в Обуховичи с Зоей Лютовой. Пошла в сельский Совет помочь составить списки эвакуированных. Потом в магазин. Из дому ничего не взяла. В кармане двадцать рублей всего. Но купила халат и бигуди. На второй день вышла на работу в школу. Детей мало — классы соединили. Но не это страшно: забыла все формулы, не могу ничего вспомнить... А какой это математик без памяти?

На улице, кого из знакомых ни увижу, спрашиваю о Саше: «Видели?» — «Да, видели — все хорошо...»

А он уже в больнице лежал.

Деньги кончились. Тетка из Полтавы сто рублей прислала, и я тридцатого апреля приехала к Лене. Сидит она одна-одинешенька, в общежитии. Я ее успокоила и первого мая поехала назад. Навстречу — санитарный автобус. И я заплакала... хотя и не знала, что Сашу еще до обеда тридцатого мая увезли... но этот санитарный автобус...

...Любовь Николаевна плачет. И я не пытаюсь ее утешить — чем утетишь?! К тому же она мужественная женщина: сколько раз за жизнь поднимал ночью Сашу телефонный звонок, и сколько раз он уезжал на станцию, а она спешила в школу, всегда приветливая и аккуратная, разбирала с учителями уроки, вечно кого-то защищала перед директором, мирила ребятишек, скрывая свою личную тревогу, от которой не должны зависеть ни учителя, ни ученики. Ее считали счастливой.

— Ночью второго мая приехал Миша Лютов. Я ему открыла. Он стоит и смотрит на меня... Потом говорит: «Сашу увезли в радиологический центр в Харьков». Ночь проплакала...

Утром пошла звонить знакомой в Киев. Показываю телефонистке номер на бумажке, а сама слова не могу сказать... Знакомая проверила: в Харькове Саши нет, перезвонила мне.

Третьего мая пришел мужчина и принес Санин портфель. Сказал, что он в двадцать пятой больнице в Киеве. А он был в радиологическом центре.

У хозяйки дома телефон. Прихожу четвертого с работы — Лена звонит: «Приезжай скорее, папе плохо».

Вечером приехала. Сашу уже перевели на шестой этаж в реанимацию. Выходит в халате, весь как обваренный... На бороде ссадина вздулась — порезался, когда брился. Мы обнялись. Я пыталась не заплакать. Он тоже еле сдержался...

Дала я ему яблоко. Он откусил и не смог... Все болело... Потом говорит: «Ты иди, а то мне плохо, пойду лягу».

Пошла. Идет врач. Останавливаю: как он?! Не знаю, говорит, я здесь дежурю, завтра придет врач Лелеченко... Захожу в ординаторскую: «Как он?!» — «Как все», — отвечают...

Тут неожиданно появилась женщина — его врач: «Плохо...» Я остолбенела: «Так делайте что-нибудь!..» — «Если со станции привезут лимфо-массу, то перельем». — «Отправьте его в Москву!» — «В таком состоянии его уже никуда нельзя везти». Такой разговор... Просилась остаться с ним — не оставили.

Я в панике. Снова звоню Валентине Михайловне, своей знакомой. Уже восемь вечера, а она еще в облоно. Я к ней. Что делать? Подсказывает кто-то: в Совет Министров. Побежали туда — уже, конечно, никого нет.

Назавтра, пятого мая, с утра иду снова, в приемной меня кто-то принял. Говорю: «Мой муж лежит в реанимации, нужно в Москву...» Мужчина позвонил в радиологический центр: «Он уже не подлежит перевозке».

Шестого мая снова у Саши. Лену не пустили Саша уже не вышел. Мне сказали, чтобы я его покормила — ничего не ест. Я принесла бульон, красное вино и красную икру. Он выпил вина, попил немного бульона. Он уже постоянно лежал под капельницей. Все у него болело. Знобило.

Мужчина-врач сказал мне перед уходом: «Лечение будет долгим. Он может быть и без сознания. Надо пересадить костный мозг. Родственники есть?» А я об одном думаю: как Саше все это больно... Это шестого мая было. Спустилась вниз. Плачу, не могу... Женщина какая-то спрашивает: «У вас умер кто-то?» — «Нет, что вы...»

Приехала с Леной в общежитие, я в ее комнате жила. А дежурная говорит: «Вы сюда не ходите больше, министр просвещения запретил...» А куда я пойду? Деньги кончились — где брать? Позвонила на работу в Обуховичи, чтобы дали отпуск и переслали отпускные.

Седьмого мая сварила для Саши суп. Позвонила гетке в Полтаву. Она говорит: «О Сане по радио говорили, что он от медицинской помощи отказался. И в «Социндустрии» что-то о нем...»

...Вновь и вновь листаю синий альбом. Вот она, статья из «Социалистической индустрии», — «Сильнее атома» за седьмое мая 1986 года. «Люди работали, не щадя себя. Получив медицинскую помощь, заместитель начальника электроцеха Александр Григорьевич Лелеченко отказался от госпитализации и вернулся в свой цех. Работал из последних сил и только на следующий день был отправлен в больницу. Чувство долга и сознание опасности, которую может принести авария, руководили действиями чернобыльцев, вступивших в борьбу с грозной силой. Сейчас они говорят, что не испытывали страха. Случилась та самая «нештатная» ситуация, к которой атомщики должны быть готовы всегда, несмотря на внешне спокойный, размеренный ритм своей обычной будничной работы».

— И вот иду я к Саше, а руки не несут сумку с продуктами — прижала к груди, боюсь уронить. Поднимаюсь по лестнице — все на меня так странно смотрят... И вот шестой этаж. Около его палаты уже нет стульев... Обычно я здесь, перед входом, переодевалась — вся укутывалась в белое, чтобы инфекцию не занести. И нет стульев...

Завели меня в ординаторскую. Но даже в эти минуты я о самом худшем и подумать не могла, считала, что плохо ему, может, без сознания. А тут заходит Сашин врач и сразу бух: «Ваш муж ночью умер». Не помню дальше... каких-то мгновений не помню... А врач говорит: «Вы, женщина, успокойтесь и думайте, где будете его хоронить. Из больницы надо забрать». А где я буду хоронить, если я вся тут — без денег, без дома...

...Саша родился 26 июля 1938 года в село Ореховка Лубенского района Полтавской области. Отец из семьи ушел... Мать поднимала сына одна. И не только на ноги, но и на крыло. И аист не забыл своего гнезда. Ему все здесь нравилось.

Когда не стало мамы, все равно приезжал. Пусть чаще уже не в Ореховку — в соседнее Степное, но это тоже ведь в родные края. Вместе со своей семьей проводил здесь почти каждый отпуск.

— И тут я вспомнила о Сашином портфеле. До этого его и не открывала. Саня мне в больнице говорил, что в портфеле новый костюм, рубашки и туфли, правда, старые — новые не нашел. Я тогда на эти слова и внимания не обратила... А Саня знал, что умрет и что мне будет трудно, вот и приготовил все для себя. Он все знал с первого дня...

Приехали забирать. Я его сразу не узнала: как-то очень сильно похудел, губы искусаны. Волосы вверх зачесали — он так никогда не носил... По шраму на подбородке узнала...

И повезли мы его в Полтаву — куда же еще?!

...Трудные годы выпали на детство Саньки Леле-ченко. Для всей страны трудные. Только земля от этого не переставала быть красивой. И прежде всего потому, что цвели на ней цветы. Разные. Но он больше всего любил мальвы. Что-то было в них от детства, от мамы, от дочки Ленки... А может и от него самого.

— Десятого мая хоронили. Был митинг. Я боялась, что никто не приедет, никто не придет. Все Степное помогало, все село провожало его... Приехали Санины однокурсники, друзья: Сухомлинов, Сохатский, Шарпан, Гончарук, Милешко... Всех не перечислить. Да и помню я плохо, что и как...

«На этой могиле всегда цветы... Сюда, широко протоптанной дорожкой, идут и идут дети. Это ученики нашей школы. Пионерский отряд четвертого класса борется за присвоение ему имени Лелечен-ко. Знать о герое как можно больше, заполнить страницы короткой, как вспышка, жизни, не потерять ничего, сберечь до крупницы воспоминания о А. Г. Лелеченко всех, кто его знал, кто был с ним рядом, — такую цель поставили перед собой пионеры... М. Чернова, село Степное».

— Меня все спрашивают: почему на Полтавщине, а не в Киеве? Я и не думала, что буду жить в Киеве, но здесь учится Лена, на отцовском факультете. Это все и решило насчет места жительства. Позднее. А тогда было единственное место, где приняли наше горе, как свое, — Степное. Не нужны были никакие бумажки и разрешения... Буквально спасла меня тетя, Дина Федосеевна Агеева: минуты не давала быть одной, и это не один день... А кто бы мне помог так здесь?

У меня ни на кого нет обиды. Горе проверило и друзей, и недругов, весомость и слов, и поступков. Теперь я знаю и другое: Саню не спасли бы и в Москве... По тому, на какие сутки умер, можно судить о дозе. Сам же Саша иначе поступить не мог, он всегда был таким, хотя и я плакала сначала: почему именно он?.. Многие дети обязаны Саше за своих отцов. Но их любовь достается мне.

«Здравствуйте, дорогие Люба и Леночка! До сих пор так тяжело и не верится, что Саши нет... До чего же несправедливо в жизни. Нашла все Сашины письма, как хорошо, что я их сохранила. Нашла письмо, где Люба пишет, что «у всех моих сестер мужья хоть и звезд с неба не хватают, но очень приличные люди». А Саня ниже написал: «Видите ли, ей звезды, оказывается, надо! Но ты-то знаешь, какие Мы!!! «Могём» и звезды!»

Старики

Не спалось бабке Елизавете...

И не от недугов, которые она, как и года, считать перестала, когда за семьдесят перевалило. Да и как не быть хворобам, если столько пережито-перелопачено: голод и холод, суд людской — и суд неправедный, война и гибель мужа, работа от зари до темна и заботы, не знающие ни дня, ни ночи. Но нет обиды на полюшко, на котором, не задумываясь о смысле жизни и не разгибая спины, сеяла, полола, жала, вязала снопы каждое лето — по урожаям и время помнила. Землица на руках на память узелков навязала, на лице свой отсвет оставила. Здесь, на поле, взошла ее жизнь, здесь отцвела, отплодоносила — дочек своих действительно в поле рожала, здесь иссох и корень жизни, — вот почему и одинокой не чувствовала себя Елизавета никогда... Не в обиде она и на дочек — живут на краю света, на Дальнем Востоке, в семьях ни ладу ни счастья нет. А горе только себя помнит, о себе напоминает... Вот и авария эта столько людей обездолила. И жалко, и больно. Да своя боль острее — на сердце лежит, спать не дает, обидой терзает. Только вот на кого обижаться — не знает старуха: то ли на бога, которому мало ее страданий, — прости, господи! — то ли на людей, построивших возле села эту атомную, которую и клясть-то боязно... А то еще и невинных проклянешь огулом... А обида глубока: ждала смерти, спокойно и даже равнодушно, — пора, человек из земли выходит и в землю возвращается... Приготовилась загодя, как водится: смертное на дно сундука положила, к праздникам бережно доставала и, словно совершая ритуал, тайный смысл которого был известен только ей, сушила на солнышке или возле печи, проветривала, чтобы не слежалось, не пожелтело; на кладбище место присмотрела для себя и для Марьи, в стороночке, сухое и удобное — не будут через могилки ходить, не будут тревожить. Да вот помирать, видно, придется в чужой хате... Задыхнулась от этой мысли, обессилела: с молоком матери всосала в кровь Елизавета нехитрую крестьянскую философию: умереть не на родной земле — значит умереть навсегда, — чужой не придет, не помянет, слезы не уронит, доброго слова не скажет. Глубока обида... А может, это и не обида вовсе: запекся в сердце горький вздох — не выдохнуть, закипели в глубоких глазницах слезы — не вылились, заledenели и колют сухие красные глаза. Может, от этого и не спится. Вторая неделя пошла, как покинула она родное село да свое подворье. Вторую неделю только и слышит о себе — «эвакуированная», а она и в войну-то из своей хаты никуда не поехала, все перетерпела, и сейчас бы не поехала, да разве с властью совладаешь... Эвакуеван-ная... Бездомная, значит. Конечно, грех на людей роптать — такие же простые деревенские, приютили...

Открыла глаза — темно, тихо, а мысли тут как тут, роем пчелиным. Слышит Елизавета их тревожное гудение, и страх подбирается к сердцу. Закрыла глаза — и того хуже: мысли ослабевают и безвольно распадаются, зато как наяву видит она свою хатку с синими облупившимися наличниками, на треть вросшую в землю. Старая хатка, да своя, не одно поколение в ней выросло, да осела — видно, не столько от тяжести лет, сколько от тяжести судеб людских под ее крышей. Конечно, на все воля божья и суд божий, только за что карает господь и праведных?! Разглядывает Елизавета свою хату, словно впервые: окно мухами засижено — вымыть надо, из трубы дым плохо идет, чистить пора — попрошу Васыля... Скользит взгляд по стрехе — ласточки гнезд налепили, знать, и впрямь выживали, есть примета такая... Скользит по двору... И вдруг обомлела Елизавета: Бобка на привязи исхудал, а в хлеве двухмесячный поросенок остался и куры... Уезжала-то уверенной, что скоро вернется, еду оставила. Да ведь вторая неделя пошла — все выпили, все съели давным-давно. «Ах, сердешные!» — простонала Елизавета и сползла с кровати.

— Куда вы, бабуся? — раздался сонный голос хозяйки. — Может, надо чего...

— Спи, спи, голубонька. Мне уже ничего не надо. Домой пойду — там скотина осталась некормленной.

— Что вы, бабуся, удумали, не пустят туда.

— Пустят! — прохрипела торопливо одевающаяся Елизавета. — Как это не пустят, в родную хату?

— Была родной, — сквозь зевоту протянула хозяйка, — говорят, не вернетесь больше...

Старуха замерла на мгновение и с вызовом сказала:

— А хоть и же вернемся... Только родное всегда остается, и в могилу его с собой заберем.

— Зачем вам на том свете черпаки да миски? — хохотнула молодича.

— Разве ж я о черепках речь веду? — обиделась Елизавета и замолчала.

Никакие уговоры не помогли. Такого упрямства даже сама Елизавета за собой не знала. Да и не упрямство это: решила идти — и словно помолодело тело, стало легким и проворным, и сердце отпустило, и вот они, слезы, бегут по дрожащим щекам. Значит, правильно решила! И лишь одна мысль зацепилась — не пустят... Но верить не хотелось: «Как это не пустят, когда там живые твари с голоду мрут? Что у них — сердца нету?..»

Почти бегом добралась до хаты, где жила Марья, заскребла скрюченным пальцем по стеклу. И тут же распахнулись белые занавески и между ними протиснулось маленькое сморщенное личико Марьи, — знать, тоже не спит, сердешная... Елизавета замахала руками, приблизившись к окну вплотную, чтобы Марья разглядела ее. Сморщенное личико округлилось, расправилось и исчезло.

Вскоре скрипнула дверь, и на крыльцо выскользнула сухонькая старушонка, уже одетая.

— Ты куда собралась? — опешила Елизавета.

— Домой хочется, — всхлипнула Марья и прислонилась к косяку.

— А чего ревешь? — заулыбалась Елизавета. — Харчей взяла?

— Взяла...

— Тогда с богом, пошли! — озорно шепнула Елизавета и не перекрестилась.

Глядя на нее выпученными глазами, боязливо опустила руку и Марья.

— На бога надейся, а сам не плошай!.. — и решительно шагнула к калитке.

Шли они больше по ночам, избегая встреч с людьми, напуганные разговорами о том, что в зону никого не пускают — радиация škodит. Дотошная Марья все спрашивала, что это такое.

— Снайпера того вражеского помнишь?

— Помню.

— Так она снайпер и есть: не видно, не слышно, а человек...

— Нет, пуля есть пуля — от нее рана остается, — не унималась Марья.

— Придешь в село — спросишь! — отрезала Елизавета.

— У кого? — изумилась Марья.

— У этой самой радиации...

Однажды после долгого спора из-за трусихи Марьи подошли они к незнакомому селу. Распахнутые калитки, еле заметно раскачиваясь, зазывали прохожих. Только некому входить... Пусто. Тихо. И страшней всего эти еле заметно раскачивающиеся калитки. Попятилась Елизавета, осеняя село размашистым крестом. Тенью метнулась вслед за нею Марья. И вдруг замычала корова, обиженнопротяжно, просяще...

Елизавета споткнулась, замерла. Но мычание не повторилось. Умоляюще взглянула на Марью. Та ткнула пальцем в крайнюю хату.

Пошли в обход. За домом паслась... корова, закутанная в полиэтиленовую пленку, — наружу торчала одна голова. Пленка шуршала при каждом движении, и этот шорох тревожил животное. Буренка мотала головой, била хвостом по бокам и недовольно переступала с ноги на ногу. Рядом на табурете сидела старуха в таком же одеянии, скрестив на груди руки. Елизавета с Марьей растерянно переглянулись. Подошли. Буренка вытянула навстречу длинную черную морду и замычала. Сидевшая старуха не оглянулась, видно, была глуха.

Молча повернули обратно.

Остаток дня просидели в лесу, спиной друг к другу. А повеяло вечерней прохладой, — и разом поднялись с повлажневшей травы. Дорогу Елизавета знала хорошо — шли напрямик, сокращая путь, минуя трассы и грунтовые дороги, оживленные даже в ночное время. Бережно предупреждали друг друга о сучках и корневищах, хотя глаза словно вернули свою прежнюю зоркость и легко отыскивали тропинки между деревьями. Темнота не пугала. Неожиданно Елизавета запела: «Месяц на небе...» Ее дребезжащий шепот вспугнул дрему: щелкнула ветка, прошуршал совсем рядом ежик, тенькнула птица. «Как мы любили...» — подхватила Марья почти девичьим голоском...

К исходу третьего дня, выпавшись на молодых ветвях и уже дожевывая зачерствевший хлеб с желтоватым прошлогодним салом, услышали они приближающиеся шаги. «Ложись!» — властно скомандовала Елизавета и распласталась на земле. Марья, охнув, замерла рядом. Слышалось легкое потрескивание сучьев, шорох прошлогодней листвы — кто-то их заметил и шел к ним. «Ни за что не вернусь, — в отчаянии думала Елизавета, — ночью в село придем, совсем немного осталось... вот беда-то...»

— Хенде хох! — раздался сверху дрожащий от смеха голос.

Елизавета резко повернула голову, отчего позвонки на шее хрустнули, и вместе с болью разлилось по шее и по спине внезапное тепло. Она вновь уткнулась в землю и затихла.

— Да я, кажется, и впрямь напугал вас, — донеслось до Елизаветы сквозь звон в ушах, — вы живы или нет?

Елизавета, скосив глаза на неподвижную Марью, встала на четвереньки, потом на колени. Прямо перед ней стоял высокий седой старик и мял в руках шапку-ушанку.

— А чтоб тебя... — выдохнула она. — Ты откуда взялся, окаанный, прости господи!

— В село ходил...

— И что? — недоверчиво спросила старуха, тормоза Марью.

Старик стал на колени. По щекам Марьи текли слезы. Он помог ей подняться. Елизавета сунула в руки кружку с водой:

— Пей, Марьюшка, пей, сердешная. Тебе, видно, вспомнилось, как ты от немцев убегала?.. Так ведь войны давно нет, Марьюшка.

Марья понимающе кивала. Краска постепенно отливала от ее лица, и только застрявшие между морщинок капельки слез сохраняли какой-то буроватый цвет, возможно, от веснушек, редких, но крупных и заметных.

— Марья до войны еще сиротой осталась, — повернулась Елизавета к старику. — Немцы в селе много хат спалили, Марьину тоже. Повели их на расстрел... Марью ранили тогда, она и притворилась убитой,

даже дышать перестала. Немец для верности еще очередь дал и ушел. А Марья ночью ко мне в хату приползла. Вместе Победу встретили...

— Вы уж простите меня, девоньки, — виновато проговорил старик, не поднимаясь с колен, — бес попутал — пошутить решил. Я же не знал, что вы и тележного скрипа боитесь...

— И-и-и, тележного скрипа, — скривилась Елизавета. — Марья потом связной у партизан была. Да ты сам у нее спроси, сколько мы в Припяти фрицев потопили...

— Да что уж там, — махнула Марья. — Тогда война была... А как иначе? Сам-то откуда будешь?

— Из Нагорцев.

— Там тоже, сказывали, страшные бои шли?

— Шли... Я сам не знаю — на фронте был. Но тезка твоя, Марья, Мария Безушко, — может, слышали? Не слышали? Так вот она рассказывала: воды негде было напиться — кровь, ни одного дерева, ни одного дома целого не осталось...

— Война... — вздохнула Марья. — Мне чего страшно-то сейчас: и войны нет, а бездомные — скольких людей этот атом из хат повыгонял... и немцев нет, а ховаемся...

— Беда никогда не приходит одна — все две да три, — поднялся старик.

— С кашлем вприкуску, с перхотой впритруску, — отозвалась наконец Елизавета. — Дочка у меня еще лучше говаривала: шахов много, а мат один... — Сказала и почувствовала, как с новой силой закипает в груди так и не понятая обида, шелестит внутри, как пленка на буренке...

Старик уловил перемену настроения в Елизавете. Молча развязал рюкзак и, порывшись, достал два беленьких платочка.

— Это вам... чтоб зла не держали. — Нахлобучил шапку-ушанку и пошел, на ходу завязывая рюкзак.

— Ав селе-то как? — крикнула вдогонку Елизавета.

Старик остановился. Снова стянул с головы шапку. И не ответил...

Только к утру вышли Елизавета и Марья к дороге, ведущей к родному селу. Присели в кустах, тяжело дыша не то от волнения, не то от усталости. Еще два поворота и... Елизавета достала из кармана платок, подарок старика, и повязала поверх теплого. А Марья улыбнулась, вынула из-за пазухи свой и расстелила на коленях.

— Сроду никто ничего не дарил, а вот на тебе...

— Сватали же тебя — чего не пошла?

— Несуженый кус изо рта валится.

— Вот и нечего тужить о том, что нельзя воротить.

— А я и не тужу. Ты же меня любила!

Елизавета хмыкнула, притянула Марью к себе:

— Нет того любее, как люди людям любы...

В кустах напротив зашуршало. Марья отпрянула и поспешно спрятала платок. Елизавета не шелохнулась.

На дорогу выскочил поросенок с зеленым респиратором на пяточке. Он ожесточенно крутил лобастой головой и жалобно хрюкал.

— Вот еще что удумали, шутники окаянные, — всплеснула руками Елизавета.

Поросенок, услышав голос, испуганно хрюкнул и бросился в кусты. Респиратор, соскользнув с пятачка, остался болтаться на шее.

— Отвык от людей, боится, сердешный, — вздохнула Елизавета.

— А ты видела, что у него на боку-то написано? — отозвалась Марья, прикрывая смеющийся беззубый рот ладонью.

— А что там написано?

— Чернобыль...

— Что? — И не удержалась от смеха — затряслись плечи, запрыгали дряблые щеки. — Да, весело гулять, коли нечего загонять... Однако пошли.

Минули один поворот. Потом другой. Елизавета засуетилась, заспешила, оставив Марью далеко позади. Шла не оглядываясь. Потом попробовала бежать, да ноги не слушались. Вот она и хата... Увидев запертую калитку, на ходу перекрестилась. Бобка не встречал — конура была пуста, валялась цепь с ошейником, хранящим рыжие клочья собачьей шерсти. «Видимо, отцепили добрые люди», — пронеслось в голове. Пробежала по двору и остановилась. Дверь в хлев была распахнута. «Неужели раскачивается?» — до слез всматривалась... Медленно вошла, пригнувшись в дверях. Поросенка не было. Присела на краешек корыта с остатками пищи.

— Выпустили, видно, — раздался сзади голос Марьи.

— Выпустили, видно, — эхом отозвалась Елизавета...

— А куры в огороде бродят. Сердешные, — вновь подала голос Марья.

— Пускай бродят... А ты садись, Марья, отдыхай пока...

Обратно Елизавету с Марьей вез бронетранспортер. Они сидели тихие и отрешенные, сложив руки на коленях. Обе в беленьких платочках. «Не доведется умереть на родной земле, не доведется, — думала Елизавета. — Нет, видно, бога на свете...» «Не доведется умереть на родной земле. Ни на смерть, ни на жизнь поруки нет», — думала Марья.

Молчали и военные, глядя себе под ноги.

«Я все специально позабываю»

— Наташа, как встретили тебя дома?

— Мама плакала, жизнь проклинала. А папа чуть не задушил. Так обнимал. Он с нами на вокзале встретился. Он не знал, что я приехала. Внезапно встретился. Я его первой бабушки увидела и закричала. Он на работу собрался ехать. Бежал ко мне... Холодно так было. Он в шубе, в шапке. Снег крутился.

— А друзья как встретили?

— Никак.

— Не радовались разве?

— (После долгого молчания). Сначала со мной никто не играл. Подойду, а девочки убегают.

— Почему?

— Заразиться боялись. Им родители приказали...

— А чем заразиться?

— Радиацией.

— Откуда ты знаешь, что родители приказали?

— Девочки сказали. Они сказали, что если до меня дотронуться, то можно заболеть. (Совсем тихо). И умереть можно...

...Наташе Шашковой шесть лет. Таких, как она, называют старушками: взгляд из-под лба, быстрый, вскользь — и все видит; на взрослых внимания не обращает, дичится — и все слышит; молчит-молчит да и вывезет такое, что только диву даешься. В Припяти жила она с бабушкой. Родители — на севере, на строительстве газопровода. Наташа готовилась к школе: научилась писать, читать и считать.

— А ты знаешь, что такое радиация?

— Знаю. В Припяти станция взорвалась, и газ пошел.

— Какой газ?

— Радиация.

— Ты умеешь писать это слово?

— Да. Я его складывала. У меня есть касса букв. Но с ошибкой складывала.

— С какой?

— Впереди два рэ поставила.

— А почему два?

— Оно рычит. И царапается.

— Ты можешь написать мне это слово так, как ты складывала, с двумя рэ?

— (Опустила голову. Надула губы). Не буду писать. И складывать больше не буду.

— Почему, девочка?

— Плохое слово.

— Чем же оно плохое?

— В начале оно рычит. А в конце буква «я». Это же я, про меня буква. От радиации умирали, я знаю. У одной тетеньки муж погиб, он на станции работал, он хороший был, он был кормилец и поилец, он не виноватый был, что станция взорвалась. (Все это произносит быстро, взхлеб, вытаращив голубые глазенки). И я могла, наверно, умереть от радиации. Но она до меня не дошла. Немножечко не дошла. А до него дошла, до дяденьки, который погиб. А до меня немножечко не смогла. Ее пожарники задержали. И дом наш был немножечко подальше.

— Ты болела?

— Да.

— От радиации?

— Я не знаю. Мы ходили с мамой в больницу. (Замолчала. Тербит подол платья).

— И что мама говорила?

— Что... кровь плохая.

— И ты не согласна с мнением мамы?

— Плохая кровь у плохих.

— С чего ты так решила?

— Ну вот говорят: он хорошей крови, а другой — дурной крови.

— Хороших кровей, Наташа, а не крови. Это другое... Это о породе так говорят... А как ты себя сейчас чувствуешь?

— Я все забываю.

— Не поняла...

— Забываю про взрыв. Специально забываю.

— И ничего-ничего не помнишь?

— (После долгого молчания). Помню.

...Мама Наташи стоит у косяка дверей, вытирая концом фартука слезы. Девочка несколько раз оглядывается на нее. Трудно сказать, что чувствует ребенок в эти минуты: лицо напряженное, глаза растерянные — непривычный разговор, долгий и немного безжалостный по отношению к девочке. Но она согласилась на него и отказывается от предложения отдохнуть. Что-то решает Наташа в эти минуты и для себя, что-то осмысливает...

— И ничего-ничего не помнишь?

— (После долгого молчания, после того, как ушла мама, поймав мой просительный взгляд). Помню.

— А мне можешь рассказать о том, что помнишь?

— (Кивает головой). Ночью соседи прибежали. Разбудили. Бабушка с тетей Машей в коридоре разговаривала. Потом бабуля не спала долго. Охала. И я не спала. То есть спала понарошке. Глаза не открывала, но слушала, как она охает.

— А еще что помнишь?

— Радио как закричит... Днем уже. Ночью бабуля его на всю громкость включила.

— О чем же радио закричало?

— Собирайтесь в эвакуацию.

— Ты боялась?

— Сначала нет. Я ничего не могла понять, а бабушка сердитая была. Бегала по комнате и плакала. Когда на автобусе поехали, я стала бояться.

— Ты плакала?

— Нет. Я думала.

— О чем?

— О приятном.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, приятное, конечно. О маме думала, о папе, о братике.

— А люди плакали?

— Да. Взрослые всегда плачут.

— ?

— У них нервы потрепанные.

— А у детей нервы крепкие?

— (Пожимает плечами). Дети же только играют. У них все понарошке. И дочки-матери понарошке, и школа понарошке, и магазин...

— А взрослые не играют?

— Играют. В карты, в домино, в шахматы.

— И ты считаешь, что у взрослых все всерьез, что они никогда ничего не делают понарошке?

— Не все. Когда детей ругают или научают.

— Шутят...

— (Задумалась. Улыбается). Командуют. Они любят командовать.

— А чему тебя бабушка научала во время эвакуации?

— В песке не играй. Никуда не ходи.

— Командовала понарошке?

— Нет. Она старенькая и боялась. Все про ужасы говорили: ужас, ужас!

— И что ты делала в те дни?

— Что делала... На лавочке сидела. На куриц смотрела. Они все равно в песке рылись. И в ляпки с детьми играла.

— С какими?

— (Недоуменно смотрит на меня). С припятскими, конечно.

— И все?

— Еще хотела и хотела домой.

— Тебе не нравилось в деревне?

— Все боялись радиации. Были одни мамы с детьми. А папы у всех уехали на станцию с бедой воевать. Игрушек никаких не было — все в Припяти остались... Потом жара напустилась.

— А бабушка чем занималась?

— Книгу читала на лавочке.

— Какую книгу?

— Толстую и зеленую.

— Про аварию на станции тебе бабушка рассказала?

— И бабушка. И ребята. У Олега папа герой. Он смелость совершил.

— Проявил.

— И у Толика герой. Толик хотел на станцию убежать. К отцу.

— Зачем?

— Помогать. И за подвигом, конечно.

— Свой подвиг Толик еще успеет совершить, только был бы он трудовым... А папами многие ребята могут гордиться: жизни не пожалели, здоровья не пожалели, чтобы других спасти. Самые трудные часы после аварии достались именно припятским папам...

— Ав магазине одна тетенька кричала, что плевали на атом, он и взорвался.

— Кто плевал, Наташа?

— Не знаю. Кто работал на станции. Кто-то.

— Кто-то плевал... И не только на станции... Я не могу тебе всего объяснить, не сумею, Наташа. Легче говорить о том, что было после: если бы сотни припятских пап не бросились в ту ночь, в ночь аварии, к разрушенному реактору и не сделали все от них зависящее, беда могла быть в сотни раз страшнее...

Наташа не задавала мне вопроса, и все же был вопрос в этом «кто-то». Вопрос вины. Самый больной из всех существующих на земле вопросов. Самый безответный. Но именно девочка и подсказала путь к нему: несправедливо считать виновным каждого, кто работал на ЧАЭС до аварии, забывая при этом, что именно большинство из тех, кто работал на ЧАЭС до аварии, добровольно принесли себя в жертву, оставаясь в зоне и год, и полтора, и два... Ценою жизни и здоровья искуплена вина. Смерть уравнила и правых и неправых, и вряд ли у кого повернется язык утверждать обратное. Но была ли вина? Была...

— А в магазине одна тетенька кричала, что плевали на атом, он и взорвался.

— Кто плевал, Наташа?

— Не знаю...

— Я тоже не знаю, девочка. Здесь, по-видимому, нужно не только историю атома перелопатить заново, но и историю человечества. А мы все бежим...

— У Оксаны тоже папа убежал. Он забоялся. Его из партии исключили.

— Из какой партии?

— Из ленинской. Где коммунисты.

— А кто такие коммунисты?

— (После долгого молчания). Пожарники.

— Знаешь, что некоторые из них тоже погибли? Как герои.

— Знаю. Кругом радиация была. Она насквозь прошла.

— Жалко их, правда?..

— (Вздыхает). И Оксану жалко.

— !!!

— Всех-всех жалко-жалко...

— Надо что-то придумать, Наташа, чтобы атомные не взрывались, чтобы люди не гибли, не становились трусами...

— Мне не придумать. Я же еще в первый класс пойду. (Оживившись). Мне новую форму купили. И портфель. И фартук узорчатый.

— Ты хочешь в школу?

— Очень хочу. И немножечко нет.

— Почему?

— А вдруг двойку поставят.

— За что?

— За стыдно.

— ?

— Стыдно отвечать. Все смотрят и слушают. Другие.

— Всю жизнь человек не только отвечает перед другими за свои слова или на вопросы других, но и проверяет ответы совестью. А еще отвечает за свои поступки и хочет, чтобы за них не было стыдно. И все же стыд — это совсем не плохо, это, наоборот, защита от двойки. Ты уже сегодня ответила на многое... Людям очень нужно знать, что слово «радиация» все-таки пишется с двумя эр, я бы и с тремя написала, а на конце у этого слова буква «я».

— (Недоверчиво). И ошибки не будет?

— Ошибки не будет, потому что это иная орфография...

Не горем единым...

Вечерело, когда наш автобус, после утомительной тряски на грунтовых дорогах, остановился. Две лампочки освещали над воротами крупные буквы: «Сказочный». Добро пожаловать!

И справа, и слева — десятки брошенных, перебравших дозы и уже «разутых» автомобилей различных марок и всевозможного назначения. На белых «скорых» отчетливо выделялись даже в сумерках красные кресты — мертвая помощь, мертвое милосердие... «А и впрямь, зачем усопшему сапоги, да еще перед вратами рая?» — мрачно пошутил Рева.

Из письма:[\[1\]](#)

«...И вот поехали мы с ребятами на велосипедах в пионерский лагерь за сказками и сказочницами. Больше за последними. Седьмой класс — самый шухерной возраст. На территорию «Сказочного» проникли без труда — для мальчишек заборов не существует. Смотрим, мать честная: новенькие корпуса, желтенький песочек, цветочки, на стендах всякого веселого зверья из мультиков видимо-невидимо... А ребятки скучные поотрядно шагают, а сказочницы заспанные и хмурые, а из столовой знакомый перестук алюминиевых ложек доносится. И все же мы тогда пожалели, что уже не можем отдыхать в этом лагере».

К автобусу подошел человек в военном, проверил документы и содержимое салона: «Артисты — это хорошо, не горем единым жив человек...» Едва въехали на территорию пионерлагеря, ставшего общим домом для тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, как нас снова остановили: нужно переодеться. На импровизированном складе со стенками из толстой полиэтиленовой пленки приветливая женщина выдала нам тапки, белые; похожие на медицинские, шапочки и такого же цвета костюмы. Пришлось тоже начать с ликвидации — прически, чтобы упрятать волосы, затем закатать рукава куртки и подвязать бечевкой брюки, оказавшиеся на два размера больше. Признаться, я была несколько разочарована перспективой предстать перед публикой в таком наряде — читать стихи!.. а может быть, даже и танцевать...

Я приехала в «Сказочный» с маленьким, но выносливым и поэтому живучим коллективом дискотеки: Александром Демидовым — «великим пересмешником» и очень серьезным человеком; Игорем Чепиком — специалистом по самой неблагоприятной работе (слайды, свет, звук...), отправившим жену в Ижевск рожать второго сына; Игорем Ревой — добровольным беззарплатным помощником. Вместе с дискотечниками работал и Михаил Назаренко — руководитель студии любительских фильмов «Припятфильм». Нередко, как и в этот вечер, к группе энтузиастов присоединялась Любовь Сирота — для поднятия духа...

Из письма:

«После аварии «сплоченный» коллектив Дворца культуры разъехался, разбежался. Демидов остался. Остался Чепик. Директор ДК от нечего делать сидел в профкоме и перекладывал бумаги. Демидыч добыл автобус, оформил в Припятъ пропуска и вывез аппаратуру, слайды, пленки. Вскоре стал крутить дискотеку в Полесском. Кое-кто посмеивался: тоже мне работенка... кто пойдет сейчас на танцы? Пошли. И свадьбы справлять стали прямо в Полесском (ребята обслуживали первую свадьбу припят-чан). Тут и начальник объявился: ДК функционирует, ДК действует денно и ночью, правда, не добавляя: в лице Демидова, Чепика и Назаренко. А без них ничего бы не было...»

Автобус подрулил к танцплощадке. В новеньких корпусах горел свет. На желтеньком песочке — рукотворные горы ботинок под полиэтиленом: вахтовики переобувались ежедневно. Поливальная машина

тщательно мыла асфальтированные дорожки. Из столовой вместе с ароматными запахами — обслуживание ресторанное! — доносился стук ложек. Со стендов удивленно смотрели крокодил Гена, Чебурашка, Винни-Пух... Всюду сидели и стояли такие же, как мы теперь, белые люди — больше мужчины, изредка — женщины. О дискотеке знали заранее и ждали. К нам подходили запросто, здоровались, называя на «ты». Здесь так принято. Здесь другие отношения. Здесь — все! — другое, опровергающее и разрушающее привычные догмы и каноны «мирной» жизни за зоной, хотя это другое — тоже жизнь, и не перевернутая, а единственно возможная в сложившихся обстоятельствах, добытая печальным опытом и прозрением души. Я давно забыла о своем разочаровании, жадно вглядываясь в особые людей, — таких лиц я еще не знала... Все казалось необычным, очень правильным и непорочным, почти фантастическим, как перед чудом... И оно действительно свершилось для меня: встреча с другом. Мы не виделись три месяца, а передо мной стоял совсем другой Павлюк: пунктирная улыбка с трудом разжимала бесцветные губы, оставляя глаза неподвижными и разжиженными, отчего лицо приобрело какое-то новое, непривычное выражение. Оно было неприятным и в то же время вызывало чувство жалости и неловкости. Я потом скажу ему об этом...

— Вначале, в мае-июне, со станции возвращались без улыбок. Даже таких, как теперь, не было... Жара. Духота невыносимая — все окна закупорены. Работали в очках, респираторах и засупоненных костюмах. Тяжелые условия, тяжелая работа. И все неузнаваемо: развалено, разбросано, искорежено, перед входом на АЭС образовалось болото, грязь, как сметана, — делали заградительную стенку. Но страшнее всего неопределенность... С первого дня эвакуации и по сегодняшний день — неопределенность. И еще долго — неопределенность, во всем... Нас эвакуировали в Бобер. Дом маленький, там своя семья — некуда лечь, нечем укрыться. Поехали к матери в Романовку. В поезде встретился с братом, зашел с семьей в наш вагон. Приехали. И стали ждать. Радио молчит. Телевизор беспечен. А сердце тревожится. Поехали к начальнику гражданской обороны Дзержинского района. Он дозвонился в наш горком в Полесском. Отвечают: пусть едут в свои организации и там решают. Приехали. В Полесском безвластие. Всем дают открепление — и езжайте, куда хотите. И подпись: Брюханов! А куда с этой филькиной грамотой?! Поистине чудеса в решетке: дыр много, а вылезть некуда. Вернулись к матери. И опять ждем. Заболела жена. Потом дочь — температура высокая, сыпь, лимфоузлы увеличены. Вот тут-то и я прозрел: надо быть там, это серьезно и надолго... И с десятого июня по двадцать пятое июля безвылазно работал то в Иловнице, то в Чернобыле, то на станции... Результаты же пока минимальны: мы привыкли — шапками закидаем, а здесь не шапки, а головы нужны. И много-много рук. И средств...

Из письма:

«...Те, кто уехал в другие города и уже оклемался, видят свою перспективу, строят житейские планы. А те, кто работает ТАМ, даже не знают, что будет завтра. В прямом смысле слова. Информации почти никакой. Правдивой и того меньше. По-прежнему угнетает несправедливость. По-прежнему организованный беспорядок».

— Живем одним днем. И лучше всего дело делать, быть со своими, — продолжает Василий. — Вот и делали свою работу, у кого было дело. А у кого не было, ждали зарплату сидя. Да и теперь так... Может быть, «сидячие» и краше улыбаются, не приглядываясь.

Только сейчас я заметила, что вокруг собралось множество людей. Они сидели тесным белым кругом на низеньких скамеечках вокруг танцплощадки. Мелькнула бредовая идея: заставить всех улыбаться...

Заиграла музыка. На экране поплыли кадры нашего фильма о Припяти двухлетней давности (я писала сценарий, а Михаилы — Бадаев и Назаренко — снимали) — теперь это исторический документ, аргумент за — созидание, за — красоту, за — милосердие, за — улыбку мыслящих, чувствующих, живущих не единым днем и даже не единым веком, а прошлым, настоящим и будущим в нерасторжимом единстве. Сколько

раз мы смотрели его «до»? Пять, десять... И уже не раз «после». А все, как впервые, сейчас: встает солнце! поет на чьем-то балконе, взлетев на перила, разноцветный петух! дрожит на розах роса! спешат к автобусным остановкам — с улыбками! — припятчане... Утро молодого города. Бывшего.

Из письма:

«По-разному относились припятчане к своему городу. Одни: провинция, дыра — никаких развлечений, кинотеатр забит, в бассейны не попадешь... Другие: квартира, дача, машина, гараж, хорошая зарплата — жить можно. Третьи: природа, грибы, ягоды, рыбалка, охота! Для родившихся — место, с которого начинается Родина. Для меня: моя школа, мое ПТУ, моя работа, мое любимое занятие — дискотека. Все родное: улочки, закоулки и округа на десять верст. Первые настоящие друзья появились здесь, первое чувство — здесь... Ощущал свою нужность, свою значимость. Сейчас в большом и чужом городе я песчинка. Никому до меня нет дела. А Припять давала практически все. С этим душа не хочет, не может и не расстанется никогда».

Всхлипывают женщины.

Курят мужчины.

Распахни широко окно! — там как будто идет кино, где у каждого тысячи дел и забот. Ты увидишь, как вдруг мелькнет за падением новый взлет, — это все эпизод, эпизод, эпизод...

Все продумали дискотечники. И эта песня, сопровождающая фильм, их — умышленная! — находка. Может быть, безжалостная? Или необходимая? Или единственно возможная именно потому, что не горем единым... За этими слезами не горе прячется, или, вернее — не только горе...

И пускай не на каждый вопрос мы находим ответ в том кино, где сценарий написан судьбой, — только, как бы порою для нас не сложился сюжет, надо быть нам в любом эпизоде собой!..

— Приехал в «Сказочный» мужик: помогите! Из Орла прилетел человек на самолете вместе с грузовиком. Водитель. Несколько дней мотался по округе, искал «хозяина», который его вызвал. Так и не нашел. Видно, «хозяин» в больнице... Пришлось человеку возвращаться обратно. А мужик хороший! Все твердил: ребята, я вынужден вернуться, никуда не берут, вынужден вернуться... Очень переживал. Запомнился он мне, жаль, имени не знаю. Хороший мужик...

Закусила губу Люба Сирота, сидит в лягушечьей позе, подавленная и некрасивая. А ведь красивая женщина. Еще несколько минут назад была красивая... Не видит себя со стороны. Да и кто смотрит сейчас с этой самой стороны, когда беда по всем прошла, всех зацепила, перетрясла и просеяла — другое дело, что — ветер унес, что — осталось. Здесь нет посторонних: каждый о своем плачет, да сидят вместе; разная цена слез, да беду на горбу вместе выносят. Хотя куда вынесешь, когда она вздыхает так, что лес клонит. Саркофаг разрушенный реактор похоронит, а горе, горечь останется. В непосторонних. Сопереживших. Вот и прополаскивают дискотечники эту горечь, чтобы чистой была, тихой, глубинной; прорвется с криком наружу — погубит человека: озлобит, лишит чести и достоинства.

Медленно сменяются кадры — тоже идея дискотечников, опытные, удачливые их находки! А может быть, так замедлилось время? Здесь замедлилось. Перестало быть посторонним. Взялось помогать... Только этого никто не замечает потому, что время — для них — стало одним бесконечным рабочим днем и будет таковым, пока не одолеют себя — беду не одолеют. В этом — помощь и смысл непостороннего времени. Саркофаг — не обыденная церковь, что — так же — строилась миром, по обету, в одни сутки. У нас другой обет... Неопределенность же — вина не времени, а людей, «сидящих», из которых плач смехом прет, потому что они над белым кругом, над временем — сами по себе...

Сегодня это выяснено точно, что всей планеты нашей племена — мы с вами — цепочка, живая цепочка, идущая сквозь времена... Мерцают неразгаданные выси, со звезд струится ветер ледяной, и жизнь во вселенной, быть может, зависит от этой цепочки земной!..

Из письма:

«Никогда не делал Демидов дискотеку ради дискотеки. Вам музыку — пожалуйста: звучит, современная, но не суржик, не шлягер, а та, которую слушаешь не ногами, а ушами. Слайды — пожалуйста: посмейтесь — над собой, узнайте то, чего еще не знали, учитесь видеть. К нему тянулась молодежь. Он чувствует момент. Вот почему дискотеку ждали и после аварии и в Чернобыле, и в Зеленом Мысе, и в «Сказочном». На работе люди разбросаны по углам, по точкам. Музыка собирает их вместе, заставляет думать...»

Как сквозь сон, слышу свою фамилию и не могу понять, в чем дело. «Иди читай, — шепчет Василий, — тебя ждут». И я иду, чувствуя в ногах предательскую слабость: это особое ожидание — без недоверия, но и без любопытства — наудивлялись... а что я могу сказать и как сказать после этих кадров и песен, чтобы не обмануть ожидание, задеть опять же за глубинное? Теперь только честь чести верит на слово, а тем более здесь... Но мое дело — слово, в нем — моя боль, моя правда, мое прозрение. Совпадут ли? Мы одеты одинаково, уравнены ситуацией, но не идеалами, хотя многие действительно общие; мы жили по-разному «до» и будем по-разному «после», каждый — со своим смыслом жизни, хотя опять же в этом смысле и много общего. Сегодня, в этот час, все настоящее в нас — общее — должно совпасть, чтобы завтра — могло совпасть, потом — совпадало чаще и чаще. Все зависит от совпадения... Даже вселенная... Дрожит в руках микрофон. Начинаю читать — дрожит голос, чужой, отдельный от меня голос. Дрожат колени. Дрожит все внутри. Это не от страха. Каждый день во мне что-то меняется, перетекает из одного состояния в другое; сегодня я уже другая, но еще не та, которой буду, которой стану; я могу стать всякой, как и эти люди, — все зависит от переоценки ценностей, происходящей в нас. Много может изменить слово! И в этот изменчивый белый круг меня поставили и случай, и судьба, и смысл жизни: нет права вымолвить слово, которому не поверят...

...Усаживаюсь на свое место между Любой и Василием. Со всех сторон несут... апельсины. Вместо цветов (сейчас цветы не рвут). Они уже не умещаются в руках, и мы складываем оранжевые витаминные шары на колени. Как хотелось тогда передать апельсин водителю из Орла, Вере Романовне Царенок, приютившей мою семью после эвакуации, родившемуся двадцать шестого июня Андрею Павлюку, не дождавшейся на свадьбу отца Ирине Ситниковой...

А дискотечники держат паузу: люди говорят друг с другом, люди улыбаются.

Из письма:

«Демидыч, конечно, артист, но он любит людей. Этим все объясняется. Его не интересует: плохие или хорошие пришли на дискотеку. С чем уйдут? Он предан своему делу».

Начались танцы. Василий стал прощаться: завтра чуть свет — на работу.

— Разрядка нужна... На работе постоянно в напряжении. Ни о чем не думаешь, кроме работы. Но после такого... — Он надолго замолкает. Я не тороплю — здесь и так скупы на слово. — Короче, пока не потеряешь — не оценишь... Жестокая философия, но верная. Все надо пережить с достоинством. Теперь все же и живем в другом ритме — вахтовом: станция — больница — станция — больница. Пока тебя приводят в порядок, хотя нашему здравоохранению только камни лечить, отходишь помаленьку. Начинаются воспоминания. Копаешься в житейских своих ошибках, неудачах и удачах. Тоскуешь о семье, сына уже месячным увидел... И всех жалеешь. От этой жалости рвешься снова на работу. Такая метаморфоза.

Я иду проводить его. С удивлением замечаю в стеклянном крыле столовой кровати. Спрашиваю.

— Как тебе сказать... Лагерь переполнен. В этом аквариуме спят орсовские работники. Женщины. Мужики стараются проснуться пораньше, чтобы не пропустить момент, когда встают женщины. Зрелище потрясающее... — Василий улыбается. — Одичали мы здесь. Но женщины не обращают внимания, хотя знают, что за ними наблюдают. Может, это просто женские хитрости. За это время некоторые одинокие вышли замуж. Распались непрочные семьи. Все логично. Всем хочется тепла. Настоящего хочется. Когда я вернулась, по танцплощадке, сцепившись руками, мчался белый хоровод. Любимая пляска дискотечников. Когда все вместе. Когда за руки. Когда нельзя не улыбнуться.

Из письма:

«... какие мы песни пели, возвращаясь из «Сказочного»? О Родине. Народные. Оказалось, что все знают слова. Научились еще в детстве от бабушек и матерей. Танцевали под модные ритмы, а песни эти помнили, жили-то с ними.

Когда летел обратно в Ригу, видел как на ладони все четыре блока и город. Трасса из Киева на Минск как раз над Припятью проходит. День был солнечный, на небе ни облачка. Вцепился в кресло и сидел...»

Свадьба в тридцатикилометровой зоне

В те дни всеобщей неприкаянности и какой-то пронзительно-дерзкой безбытности, когда пристанищем становился любой случайный угол, а все имущество было на себе да в небольшой сумке, само известие о свадьбе показалось нелепым. Какая свадьба, когда ловишь каждую весточку оттуда — с четвертого энергоблока. Когда часами вслушиваешься в хриплые голоса. Когда пристально вглядываешься в лица вернувшихся с вахты. Когда никак не привыкнешь к колоннам машин с зажженными днем фарами, к застывшим фигурам в одинаковой одежде и зеленых респираторах в кабинах и кузовах автомобилей, к такому скоплению народа. Когда все воспринимается болезненно-тупо...

И все же свадьба не была выдумкой. Жених из близлежащего села несколько дней подряд уговаривал музыкантов инструментального ансамбля выручить, войти в положение, повеселить людей. Наверное, убедил все же последний довод: женишься не каждый день, а тем более в такой ситуации. И они согласились, пригласив по старой дружбе и меня в роли летописца.

В назначенный день подъехал автобус, выделенный для жениха колхозом, и мы, погрузив инструменты, с необъяснимым и до сих пор чувством неловкости и подавленности, отправились к жениху.

Дом родителей жениха был заметным: крепкий, добротный, со множеством всяких пристроек для житья-бытья и хозяйственных нужд, с ухоженным огородом и садом. Просторный асфальтированный двор предназначался сегодня для танцев. В глубине его, в специально оборудованном шатре с коврами и покрывалами вместо стен, были расставлены столы со всевозможной снедью.

Солнце палило нещадно, словно извиняясь за прохладный май. Мы устанавливали аппаратуру под навесом, украшенным срезанными молоденькими березками и, что греха таить, в глубине души радовались удачному месту и благополучному дому.

Прибывали торжественно-нарядные гости. Пахло жареным луком, чешуей свежей рыбы, одеколоном, нафталином и задохнувшимся от жары навозом. Заканчивались последние приготовления. Женщины металась между шатром и погребом. Мужчины с достоинством курили. Из дома выскочил красный, с капельками пота на лбу жених. Он был в белой рубашке и серых брюках. На шее висел незавязанный галстук — не получалось. Я завязала его с удовольствием — двойным узлом, чем заслужила одобрительные кивки сидящих в шеренгу, просветленных белыми платочками и радостью старушек. А жених был действительно хорош, как хороша бывает зрелая молодость: высокий, крепкий, ловкий в движениях. Мы, не сговариваясь, прозвали его нашим женихом.

Музыканты играли. Я уселась рядом на ящике из-под аппаратуры и с тайным, так мне казалось, любопытством рассматривала гостей, попутно отвечая гримасами корчившим рожицы ребятишкам.

Вскоре гости исчезли в шатре у нас за спиной. Двор опустел. Дети, на равных, также заняли места за столами. Без них стало особенно грустно: у каждого из нас были семьи, сыновья и дочери, с которыми не виделись уже второй месяц и не знали, когда встретимся. И в то же время было тревожно за этих мальчиков и девочек, оставшихся здесь, в почти бездетной зоне. Вспомнился почему-то и бездетный в эти месяцы Киев, удаленный от тридцатикилометровой — двумя такими зонами, даже тремя... Ребята играли что-то медленное, щемящее, не глядя друг на друга. Голоса за спиной потребовали «Маричку».

Вскоре все потонуло в сплошном гуле, нарастающем, как звук приближающегося самолета. Иногда его перекрывала внезапно возникающая и так же неожиданно угасающая песня. Свадьба набирала силу. Появились первые танцующие. Нас же мучил вопрос: где невеста?

Часов в одиннадцать вечера недоумение рассеял жених: свадьба продолжится до утра, но уже в доме избранницы. Недоумение рассеялось — возникла досада. Без всякого энтузиазма сматывали мы шнуры, укладывали в чехлы гитары. Невеста жила в соседнем селе.

Толпа вокруг дома невесты, уже хмельная и, по-видимому, утомленная ожиданием, встречала новых гостей солеными шутками, меткими замечаниями, добродушными свистками. Некоторые накинлись и на нас, без вины виноватых. Особенно усердствовала пухлая косоглазая Люба — ее визгливый голос был подобен милицейскому предупреждающему свистку: «Ой, ой, да вы поглядите, людоньки добрые, — причитала она на самой высокой ноте, — да что это за музыки — мальчишки. Да рази они сыграют что-то путное?! Да они же и языка нашенского не знают — пацаны! Вот уж правда: каков жених, такие у него и музыки...» Мы терпеливо молчали, хотя нервничали изрядно: играть предстояло прямо на улице, толпа, разгоряченная хмелем и любопытством, грозила смять и усилители, и инструменты, и нас самих. Задние, привлеченные голосом Любы, напирали, подпрыгивали, стараясь разглядеть происходящее впереди.

Дом невесты был гораздо меньше, двор не мог вместить всех гостей, включая и вновь прибывших, которые ломали ворота, пытались прорваться на тщательно охраняемую территорию владений невесты с наименьшим выкупом. Таков обычай... Каждая пядь оплачивалась деньгами, самогоном, сладостями. Стенка шла на стенку. Трещали рубахи, визжали женщины. Кто-то сочно и длинно крыл по матушке и свадьбу, и обряды, и гостей. Вспыхнула драка. Но драчунов моментально усмирила вездесущая Люба, с разбегу врезавшаяся в толпу. Скоро ее голос доносился уже со двора. Жених прорвался к невесте. Гости усаживались за столы. Но толпа вокруг от этого нисколько не уменьшалась, а наоборот, росла и росла, растягиваясь вдоль трассы на целый километр. Собралась вся деревня, молодежь из окрестных сел, появились солдаты и те, кто участвовал в ликвидации последствий аварии.

У нас не хватало удлинителей. И тотчас появилась Люба: «Навезли шнуров да ящиков, а толку, — язвила она, — без электричества, видите ли, играть уже не могут. Руки не оттуда растут». Я не утерпела, попытавшись утихомирить ее: «Да вы не беспокойтесь, ребята сыграют все, что захотите: и польку, и гопака, и вальс. Еще пять минут — и все будет готово. Наш жених...» Лучше бы мне не раскрывать рта... Люба с остервенением сплюнула: «Ваш жених! Да мы бы такого жениха и близко к своей хате не подпустили, если бы не это горе... Нашла добро! Думаешь, джинсы напялила да космы распустила — и королева!..»

Меня выручила музыка. Люба издала победный вопль и так взбрыкнула ногами, что взвился песчаный столб.

Толпа заплясала, не сходя с места. Появилась невеста, держа под руку жениха. Белое платье впереди морщилось, поднималось на животе, а сзади подол его волочился по земле. Жених заказал вальс. Толпа расступилась, впуслав новобрачных в круг, и вновь сомкнулась. Женщин не хватало. Мужчины танцевали друг с другом. Неожиданно меня пригласил высоченный дядька сажень в плечах, как говорят о таких. Новенький костюм сидел на нем так плотно, что, казалось, прирос к телу. Танцевал он здорово. Чувствовалась старая школа. Он вальсировал легко и раскованно, причем не только по часовой стрелке, но и против, не давая моим ногам коснуться земли. Его надежно вытесанное лицо при всей мужской сдержанности сияло удовольствием. Проводив меня и уже собираясь уйти, он вдруг спросил: «Ну и сколько мне лет, по-вашему?» — «Пятьдесят», — выдохнула я, сознательно скинув десяток. «Скоро восемьдесят! — отчеканил он, — и нисколько не устал — офицерская закалка!» Я дышала тяжело. И не только от танца. Пыль стояла плотной завесой, щекотала ноздри, собиралась комком в глотке, заставляла слезиться глаза. Песок хрустел на зубах. Музыкантам доставалось особенно — они еще и пели, как-то обезличенные пылью. Их чернявые головы казались седыми. «Что же это делается? Пыль-то наверняка того... радиоактивная...» Но мысль эта ворохнулась вяло и почти безразлично — уже свыклись. Да и целиком была поглощена невиданным зрелищем...

Стояла глухая ночь. На небе ни звездочки. Только слабый свет лампочки освещал музыкантов. Толпа, черная и подвижная, с глухим рокотом, словно вышедшая из берегов река, текла в разные стороны, внезапно, но плавно и согласно, что было удивительнее всего, меняя направление. Казалось, каждый пляшущий (именно пляшущий, а не танцующий) был сам по себе: выкидывал коленца, хлопал в ладоши, выкрикивал что-то, не обращая внимания на других, не заботясь о мнении окружающих, сосредоточившись лишь на своих ощущениях и мыслях. И все же в лицах и поведении людей было что-то общее, ущербное, но притягательное даже в ущербности...

Лица, лица, лица... Отрешенные, добродушные, восторженные. Застигнутые взглядом врасплох. И — одинаково уставшие.

Постепенно черты заострялись, становились резче, отчетливей. Медленная бледность, граничащая с желтизной, заливала лица, делала их менее подвижными, неестественными. Лица злых и добрых, умных и глупых, хитрецов и простофиль. Случайные лица, собранные воедино не столько весельем, сколько общей бедой. Хаос жизни каждого обладателя этого нового общего лица при всей разности глаз, носов, губ растворен в этом общем хаосе. Все, что накопилось за жизнь, выплеснуто в эту ночь: честь и бесчестие, достоинство и пороки, явное и мнимое. Выплеснуто неожиданно и в то же время естественно.

Я пыталась вспомнить нечто похожее из книг — объяснить психологию толпы, вовлеченной сначала в круговорот бедствия, когда люди внутренне оказались не подготовленными к нему, а затем в это, такое же неожиданное для большинства, с горьковатым привкусом, веселье. Сюда бы историка нравов, исследователя психологических норм эпохи!

Первым пришел на ум Пушкин — история повторяется и, если верить поэту, то даже при коренном изменении общества меньше других переменам подвержен так называемый простой народ. Поэтому в его поведении даже психологические стереотипы должны сохраняться дольше... Люди держатся за стереотип, простую схему, в которую они попытались загнать всю сложную реальность, чтобы оправдать свои пороки, свою ограниченность, свое недомыслие. Запутавшись в противоречиях мира и собственной жизни, чаще всего вовсе отказываются даже от попыток что-либо изменить. Но именно поэтому каждое веселье становится выплеском душевного груза — лишнего, тягостного, агрессивного. Становится ситуативным торжеством неуклюжей свободы.

Незаметно размылась и исчезла граница между ночью и утром, а толпа плясала и плясала. Наконец появился заспанный жених и объявил в микрофон, что прощается с гостями. Никто не возразил ни жестом, ни словом. Толпа мгновенно поредела, рассыпалась. Сгорбленные фигурки словно отлетели в разные стороны. Начинался новый день в тридцатикилометровой зоне.

«Возвращение» в Припять

...Мы мечтали о возвращении. Бредили им. Уверенность вселяла и пресса, подняв вопрос о возвращении уже через несколько месяцев после эвакуации. Однако те, кто работал на электростанции, привозили совсем иную информацию: возвращение не состоится — радиационный фон вокруг атомной очень высокий. Смертоносный фон. Но желание хотя бы взглянуть, хоть одним глазком, от этого только росло. И как настоящую удачу восприняли разрешение забрать из квартир не только ценные, но и дорогие сердцу предметы: альбомы с фотографиями, письма, реликвии.

Встреча с городом через шесть месяцев стала одним из самых болевых моментов — до сих пор трудно подобрать слова, чтобы передать увиденное и пережитое. Не случайно этот очерк был написан последним. И не случайно я воспользовалась свидетельствами очевидцев, призвав их в соавторы.

Леонид Яковлевич Труппе (киевлянин): «...Прошло полчаса, как киевская электричка выплеснула нас на платформу Тетерева. Промозглое ноябрьское утро, серое и унылое, как раз соответствовало настроению и задаче: добраться до Припяти и к вечеру вернуться в Киев с вещами, оставленными полгода назад в припятской квартире. Вот он, пропуск на вывоз личного имущества. А что нас ждет впереди? — тридцатикилометровая Зона...

Зона. Слово-то какое! Страшное слово, за которым мне вновь видится военное время... Та же колючая проволока, охватившая часть территории, вырубленный лес, указатели: «Хозяйство такого-то...» А нам туда надо ехать, в Зону. Но пока мы выходим у автозаправки, не доезжая до Полесского, чтобы добраться до Стеблов, где оформляются бумаги.

Под моросящим дождем умяли километра три дороги, измочаленной тысячами прошедших до нас ног настолько, что она расползалась от самого осторожного прикосновения. Вместе с нами в «марш-броске» участвовало еще пятеро: мать с хромой дочерью из, Полтавы, женщина и муж с женой из Киева. Какое мужество все же у женщин, одиноких женщин, рассчитывающих только на себя, не жалующихся на судьбу, на трудности... Они молчаливы и печальны. Они целиком сосредоточены на чем-то своем...

Клуб, в котором производили оформление бумаг, замечен издали, — грузовики, фургоны, мотоциклы вокруг. Прямо с крыльца начиналась очередь к узенькой двери, за которой мелькнул милицейский околыш — оформляли пропуска. В зале с жалкими остатками кресел-инвалидов и экраном с заплатой две женщины выписывали квитанции и принимали деньги за перевозку личных вещей: автомобиль — на две-три семьи, и с каждой по 122 рубля. Сумма приличная, но кто в такой ситуации считает деньги...»

Аркадий Ш. (житель села Новые Шепеличи): «Полтора месяца прожили мы с женой в Киеве, пока решили вопрос с квартирой. Поехал за вещами, наняв за сто рублей грузчика, — одному не справиться за то короткое время, которое дается на сбор вещей. Те, кто уже ездил, просветили: бери деньги и для дозиметристов, иначе не выпустят. Можно и водку, но сейчас проверяют и машины, и людей, въезжающих в Зону. Подъехал я к дому, и руки затряслись, замок не мог открыть. Сначала сел, чтобы успокоиться... А потом началась беготня с первого этажа на четвертый и с четвертого на первый... Погрузили, поехали. На контрольном посту подходят двое. Увидели кое-что из мебели и велели выгружать. А все чистое, они проверили. «Почему?» — спрашиваю. «Не положено!» Сел и говорю: «Выгружайте сами, я больше не могу». Они переглянулись. Один говорит: «Ты же понимаешь, какую ответственность берем на себя...» — «Сколько вы хотите?» — спрашиваю. «Нас пятеро...» — отвечает второй. Дал я им пятьдесят рублей за ответственность и поехал. И больше бы дал — человек перед ними бессилён, у них власть и сила. Да разве одному мне пришлось этот стыд пережить...»

Александр К. (житель Припяти): «...Нельзя было вывозить магнитофоны, телевизоры, но на свалке я что-то ни одного магнитофона не видел. Зато взломанных квартир сколько угодно. В озлоблении люди выбрасывали стиральные машины, телевизоры, магнитофоны прямо из окон. У меня был японский магнитофон. Спрятал я его под вещами. Но разрыли, нашли. Хотели забрать, а я не дал — трахнул его об землю и заплакал. А дозиметрист закричал на меня: «Что ты сделал, кретин?» Не выдержал я тут и сказал им все, что думаю. Вступились люди...»

Л. Я. Труппе: «Вот она — граница Зоны. Шоссе упирается в шлагбаум, справа и слева «колючка», за ней распаханное поле. Пока оформляются очередные документы, осматриваю окрестности. Много машин, много усталых спящих людей. Между зданиями — асфальтированные дорожки, провода, остатки труб — нет ничего постоянного, чем временное: здесь обустраиваются основательно, не считаясь со средствами. На всем налет фронтовой сосредоточенности, отрешенности и пренебрежения к мелочам. Тут же импровизированная автозаправка, пункт обмена одежды, гараж, столовая, медпункт, продуктово-промтоварный ларек. Изредка в Зону проезжают суровые БМП — боевые машины пехоты.

Наконец мы получили черные халаты и белые шапочки, марлевые респираторы-лепестки. Но колонна ушла без нас — водитель куда-то исчез. Достал коробку «Коровки», которую купил на завтрак в Стеблах, — полдничаем.

Приехали диспетчеры, рабочий день которых уже закончился — на часах восемнадцать, чтобы уладить недоразумение: кто-то оказался без машины, хотя и заплатил за нее... Наконец после долгих просьб пропустили оставшиеся три машины.

Приехали в Припять. На сборы нам отвели сорок минут...»

Ждала этого «возвращения» и я. Темный (электричество отключено) пустой город казался незнакомым. В человеческий рост вымахавшая трава шептала одной ей известную правду. На детской площадке в песочнице по-прежнему валялись игрушки. С одного из балконов свисал огромный ковер. Ветер перекачивал обрывки бумаги, шевелил разбросанное по земле тряпье. Под окнами домов — груды разбитой мебели вперемешку с детскими колготками, покрывальцами, подушечками... На подоконниках — цветочные горшки с жалкими высохшими стеблями; кукла в выгоревшем на солнце платье тянет пластмассовые ручонки к изломанным ветвям голых деревьев; на одном из стекол — радостно улыбающийся Дед Мороз, нарисованный маленьким художником и ознаменовавший начало нового — 1986 года... Мои глаза избегали только одних окон... тех, за которыми была комната моей дочери.

Мне совсем не хотелось входить в свою квартиру. Мне ничего уже не надо, потому что в сердце вползает животный страх — только сейчас, только сейчас я постигла глубину свершившейся трагедии. А ведь она могла быть во много раз страшнее...

Мертвый город. В голове словно молоточки стучат, а сердца не слышно, будто и нет совсем. Почему-то всплыли в памяти строки Николая Некрасова: «Кто живет без печали и гнева, Тот не любит Отчизны своей», а вслед за ними другие: «...Теперь там свалки, Целлофана шорох — Пейзаж луны...» Юлии Друниной. Но что же я, вместо того, чтобы экономить драгоценное время, хожу вокруг дома и шепчу стихи?!

Водитель и «грузчик» терпеливо ждали...

Аркадий Ш.: «...Только наша машина остановилась, как колеса облепили тощие коты. Они так жутко кричали, что мы сразу не решались выйти. Спрыгнули на землю — коты врассыпную, но далеко не уходят, буравят нас горящими от голода глазами, дрожат впалыми боками и кричат. Нашли мы дома несколько банок тушенки, открыли и вынесли им. Как они накинлись — друг друга готовы разорвать. Не дай бог еще раз пережить такое зрелище...»

Александр К.: «Вошел я в свой подъезд и остановился. Тишина такая, что, кажется, лопнут перепонки. Я и заорал, что было мочи, — наверное, по всему городу был слышен крик. Долго еще мой голос бился на этажах, поднимаясь выше и выше, а я шел за ним...»

Л. Я. Труппе: «Недаром говорят, что один переезд равен двум пожарам. Такого темпа не выдержала бы ни одна бригада грузчиков, благо, что еще квартира на первом этаже. Провинившийся шофер работал за троих.

Одна догорающая свеча на три комнаты. Мы то и дело сталкиваемся в темноте. Но уложились в эти сорок минут...»

...Я прошла из комнаты в комнату — чисто, уютно, на диво свежий воздух. Трясущимися руками снимала портреты дочери, панически боясь, что какой-то где-то забуду и останется здесь... Достала альбомы, уложила в целлофановый мешок и принялась собирать книги. Больше ни к чему не притронулась, однако мои помощники сами знали, что делать. В последний раз оглянулась и вышла, жалкая и опустошенная, словно из меня выбрали все, что можно и нельзя было даже по инструкции...

Л. Я. Труппе: «Я с тревогой думал: а вдруг квартира «засвечена» и вещи, которые собрали, на самом деле окажутся ненужными. Как должно быть жаль человеку расставаться с привычным, приобретавшимся не один год на сэкономленные средства... А если и эти крохи придется оставить?»

Антонина И.: «Перед самой аварией мы поменяли с мамой мебель во всех четырех комнатах, старую — отвезли на дачу. Сколько мы ждали этого праздника... как любовно обставляли каждую комнату, как радовались дети. Потратили все, что с таким трудом скопили. Как я могла что-то выбрать, если все дорого, с каждой вещью что-то связано. Это не жадность, это растерянность. Брала то, что попадалось под руку, отбрасывая в сторону только детские вещи... Вот почему многое оказалось ненужным, а нужное осталось. Трудно передать то состояние: что-то вроде прострации».

Л. Я. Труппе: «Все оказалось чистым, словно «грязь» сознательно минула эту квартиру. Впереди нас кто-то выбросил из машины новенькую стиральную машину — запрещенный груз. Хозяйка ее безучастно стояла в стороне.

Припятчане в своей массе оказались не настолько уж сентиментальны, как мне доводилось слышать. Их нервные стрессы и эмоциональные взрывы легко объяснимы: целый год в постоянном напряжении...

И вот последний пост на выезде из Припяти. Нам желают счастливой дороги. Это значит, чтобы не «захватили» чего-нибудь по пути. Вот и тридцатикилометровая Зона позади, но посты следуют один за другим. На одном нас основательно искупали — машины блестели, как новенькие, но уже через два поста их мыли вновь...»

В Киев мы приехали уже утром. Водитель, поспав пару часов на собственном бушлате на полу, отправился в обратный путь.

Я сидела посреди разбросанных по всей комнате мешков, из которых высыпались одежда и книги, и перелистывала свои записные книжки: «...Каждая победа над природой... имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых». Фридрих Энгельс.

Женщины

— Никогда не думала, что любовь придет ко мне именно в дни беды. Все мысли были об аварии. Казалось, не чувствовала ничего, кроме боли и страха, кроме растерянности. И вот... Может, мы совсем не знаем своего сердца. Только у черты понимаешь, что создана для любви, нежности, заботы. Для детей и для семьи. Мое счастье шло рука об руку с несчастьем. Счастье победило.

...Они стояли рядом. Слышали голоса друг друга. И не замечали один другого. Он хотел записать адрес знакомого — не оказалось ручки — повернулся... И встретился с ее глазами. Подумал: глаза моей жены!

— «Чего бы ты хотела? Что я могу для тебя сделать?» — спросил он. Я и брякнула: погулять в поле до рассвета.

...Он нес ее на руках. Через поле. Высокие сапоги не могли служить защитой — еще выше трава. Он защищал ее. Видел только ее глаза, в которых смешались восторг и страх, нежность и тревога, благодарность и растерянность. Наверно, они выглядели смешно: влюбленные в робах и респираторах. Наверно, они были легкомысленны: на обочины дорог сходить и съезжать запрещалось... Но они были счастливы: пришло их время, именно сейчас, когда не гуляют в полях, не лежат в густой траве, не рвут цветов и не плетут из них венки, не пьют горстями воду из родников... Бывает, оказывается, и такое время. Может быть. И все же их время совпало с весной и только с весной.

— Он нес меня очень долго. Я знала, что ему тяжело. Сказала об этом. Он ответил, что это самая легкая ноша в его жизни.

Есть пословица: жизнь прожить — не поле перейти. То поле перейти было все равно, что жизнь прожить... Он смог. С ним и я. Значит, нам суждено прожить несколько жизней. Только бы без респираторов.

...За все время — за все поле — они не проронили ни слова. И тем не менее сказали друг другу все. Где-то щебетали птицы. И они боялись, что этот птичий диалог может прерваться. Они боялись тишины поля и леса, тишины жизни. Они любили.

— Я приехала в Киев из Полесского поздно вечером... Празднично украшенный город. Гуляющие по Крещатику взбудораженные весной люди. Веселые. А у меня состояние опустошенности. Даже тупости. Вроде бы приличнее в такой ситуации плакать, страдать... Но, видно, наступил предел. В голове какие-то странные строчки: с тенью своею по свету скитаюсь...

...Людмила дошла до гостиницы. Остановилась. «Москва» сияла всеми окнами, призывно и таинственно. Только разве может человек с улицы вот так запросто поселиться в этом отеле... И эта «Москва» слезам не верит. И все же вошла. Швейцар, иронически оглядев ее с ног до головы, посторонился.

— Подошла к администратору и молчу. Смотрю на нее и молчу. Она занервничала: «Вам что надо?» — «Номер, — отвечаю, — отдельный». Насмешливо вскинула брови. Потом лицо ее дрогнуло. «Вы из Чернобыля? Справка о том, что здоровы, есть?»

...Людмила порылась в сумочке и достала справку со штампом Полесской центральной райбольницы и тремя ничего не значащими словами: радиационной опасности нет. Такие справки выдавали на улице, рядом с больницей. Всем.

Вошла в номер. Не зажигая света, опустилась на стул.

— Переодеться было не во что, все грязное. Давай стирать. Развесила по номеру все, что на мне было. Все делала машинально. Потом включила горячий душ и встала под струю воды. Сколько так простояла — не помню. Долго, очень долго. Прямо передо мной зеркало. Я его раньше как-то не замечала. Выключила, наконец, воду и замерла... Может, кому-то это покажется незначительным, смешным, пошлым... Меня буквально потряс контраст: еще девичье тело и лицо старухи! Я даже не могла сразу вспомнить, сколько же мне лет... Уголки губ опущены, кожа сморщилась, посерела. И чужие остекленевшие глаза. Мне стало страшно: как жить с таким лицом?! Долго не могла уснуть. А в голове опять какие-то странные строки: разрушается душа — изгоняется вечность...

...Двое суток не выходила Людмила из номера — куртка и брюки сохли медленно. Но чувства голода не было. Босая ходила от стены к стене, беззвучно шевеля губами. Она никогда не писала стихов, даже читала редко и не знала, как отнестись к тому, что рождалось из глубины самого горя. «Тяжелая длань времени опускается сверху — благословляющий жест, а я врастаю в землю и сгибаюсь под этой нечеловеческой тяжестью — и разрушается душа — изгоняется вечность... Вечность зависит от меня, а я от времени. И все гибнет от этой зависимости разобщенных, разобщенности зависимых. А растерянная длань времени пытается нащупать опору там, где уже черная дыра — вечная».

— Такие были мысли. Вселенские. При полной бесчувственности — какая-то окаменелость. Авария застала врасплох душу — вот что прискорбнее всего. Все было везде хорошо и лучше некуда. Душу обманули. Теперь я знаю, что аварии на предприятиях, железных дорогах нередки. Неожиданное прозрение. С ним трудно справиться. Орать хочется: только не лгите больше! Не калечьте душу, она и так инвалид. Порой умираю от ненависти, порой умираю от любви... Итоги прозрения. Я ведь действительно жила в себе, ничего не хотела замечать. Вот и приобрела остекленевшие глаза — никакие очки не нужны.

В первые дни после аварии отказала память. Никак не могла запомнить, в каком крыле гостиницы мой номер. Как нарочно, шла постоянно в другую сторону. Дежурная возвращала — запомнила меня. Однажды слышу, как она кому-то говорит тихонько: «Сумасшедшая из Чернобыля». Вот так-то. А реакции мои действительно были ненормальными с точки зрения здравого человека.

...Дневной Крещатик поразил ее еще больше: яркие краски встречной толпы, вечный праздник магнитофонов на груди женоподобных юношей, обрывки разговоров о покупках, спектаклях, встречах... Людмила помнила другую толпу — бело-зеленую, молчаливую, беззащитную. Толпу в Полесском.

Сторонилась. Нарядные веселые люди вызывали приступы раздражения и злости, заканчивающиеся слезами. На нее оглядывались. Прижимали к обочине. Она оступалась, вздрагивала и отодвигалась подальше. И вновь бескровные губы шептали: «Кровь онемела в жилах, завязанных словно на память в узлы-узлы. Сердце бесполое тело тащит. И тень, как без нитки клубочек, катится рядом — вперед не решаясь. Может, дойдем, доплутаем до края... Все-таки край — это лучше обочин».

— Я поселилась в Ирпене. На даче. У знакомых. Каждое утро выходила в сад и боялась сойти с ума от остроты взгляда и ощущений. Глаза замечали каждую травинку, каждого жучка, каждый сучок. Метаморфоза.

Задышалась от свежего воздуха, но привкус железа не исчезал. Даже воздух раздражал истерзанное кашлем горло.

Мир раскололся: одна его половина была там, в зоне, другая здесь, в саду. А посередине Киев, насильственно и привычно соединяющий эти половины. Я же была везде и — нигде. У меня было прошлое — и словно не было его, потому что я вне настоящего. И все же я серьезная улика настоящего... Поэтому нежелательная.

Как относились к аварии люди? Охали, ахали — боялись. Сочувствовали. Но, нашей боли не испытав, не могли и постичь ее. Задавали вопросы мне, жалели меня и меня же боялись. Выводили меня за черту своей привычной жизни. Я здесь лишняя, потому что вношу дисгармонию. И не только в их жизнь, но и в окружающую красоту. Закон курятника по отношению к гадкому утенку. Я много думала об этом. Мне легко об этом говорить. Самое страшное, что люди свыклись со своим тихим существованием. И ничего не хотят менять. Ничего не хотят знать о трагедиях прошлого, чтобы ничего не менять. Тем более боятся прикасаться к трагедии настоящего, судьбой прикасаться. Не все, конечно. И все же, все же... Они заставляют себя верить только в то, что показывают по телевизору. Заглянуть за экран — растревожиться. Им этого не надо. Своих частных проблем хватает.

Мне так хотелось выплакаться. По-бабьи, искренне, когда лицо становится уродливым — уродство страдания души проступает на нем. А в горле камень. И глаза — пустыня. Только красные — расчесывала до крови. Мне в то время самой не хотелось быть среди людей. Дополнительное напряжение. Не выдерживала. В саду было легче. Одной. Ходила и думала. Наконец нашла время думать.

И все же мне удалось выплакаться. Приехали с друзьями хозяева. Конечно, пили. В то время я много пила, но вино не брало. Один из друзей стал ко мне приставать, когда я вышла на крыльцо, на воздух. Душно стало. И такая обида меня взяла... На мне словно кожи не было — любое прикосновение вызывало боль во всем теле. Физическую боль. Любая грязь ранила, а тут... в душу плюнули. Даже не меня, горе мое унизили. Выплакалась...

Не могу здесь жить. Уеду. Что-то важное я потеряла, без чего жить страшно. Попробую убежать от себя.

— Несколько месяцев подряд отлежали мои дети в больнице... Что я пережила? Такой виноватой себя перед ними чувствую — жить не хочется. Сон мне часто вспоминается, доаварийный. Хотя теперь мне кажется, что это видение, предзнаменование.

...Перед сном Елена всегда читала. Книга отвлекала от житейских забот и одновременно служила чем-то вроде снотворного. Глаза слипались. Отодвинула книгу и выключила настольную лампу. Привычно заложила руки за голову. Задумалась, уставившись в темный угол. Сон внезапно улетучился.

Вдруг от стены отделилась женская фигура в длинном черном плаще с капюшоном. Явственно проступали черты бледного удлинённого лица. Елена затаила дыхание. Страх не было. Осторожно ущипнула себя — видение не исчезало. Женщина подошла к спинке кровати и остановилась. «Вы кто?» — прошептала Елена, испытывая какое-то безотчетное доверие к черной незнакомке. Та приложила палец к губам. Елена села на кровати. Черная женщина отступила и исчезла.

— Я рассказала свой сон маме. «Она тебя предупреждала», — ответила мать на мое «что бы это значило?». Конечно, задним числом, обращаешь внимание на любые мелочи из прошлой жизни, сопоставляешь, может быть, и не сопоставимое. Но меня это волнует.

...Несколько раз ходила Елена в церковь. «Просто так». Больше смотрела на других: неужели искренне верят? Неужели находят утешение? Второе было для нее важнее. Тревога за детей, жизнь с нуля, гибель мужа... С жадностью впивалась глазами в просветленные лица женщин осеняющих себя крестами. Какая в них покорность, какой покой! Смогла бы или нет сама так?

Никто и никогда не знал ее подлинных мыслей. Тайна давно стала привычкой, своего рода формой существования: чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя. Она казалась общительной и простодушной, в то время как с губ ее никогда не срывалось искреннее или правдивое слово, всегда только нужное.

После аварии, испытавшей ее безжалостно и неумолимо, что-то в Елене надломилось. Она впервые растерялась перед жизнью, перед обстоятельствами — перед настоящим. Это настоящее предстояло

создать заново. Она ходила по высоким инстанциям — от них зависело это настоящее, — что-то требовала, выпрашивала. И возвращалась еще более замкнутой и недоверчивой.

Всегда молодящаяся, она перешла на строгий стиль в одежде, отказалась от косметики и высоких каблуков. Что-то апатичное появилось в ее движениях, в выражении лица. И только одна мысль оживляла потухшие глаза... тайная мысль.

Однажды она остановилась у кинотеатра. Шел фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Купила билет.

Весь сеанс просидела, не меняя позы. Только изредка покачивала головой. Люди выходили из зала, обманувшись в своих ожиданиях, а она не отрывала глаз от экрана, от пятнышка земли на земном шаре, на котором пересекались восемь взаимозависимых и независимых судеб. Внутренне сжавшись, она пыталась спастись от нарастающего напряжения, исходящего от лиц, слов, интонаций, жестов, красок, мазков, штрихов, черточек, деталей, интерьеров, звуков и отзвуков, собранных Тарковским воедино, — от единоутробного порядка и хаоса мироздания и человеческой души. Но как спастись от веры и неверия, сомнений и поисков, силы и слабости, чистоты и скверны, равнодушия и боли — от себя? Как возвыситься над хаосом до гармонии полотен Леонардо да Винчи, до гармонии природы, до гармонии Христа? Как изменить этот мир с приближающимся апокалипсисом ядерной катастрофы до взаимопонимания, любви, милосердия? Какое нужно жертвоприношение для этого?

— Хотя это фильм вопросов — ответы в каждом из нас, мне кажется, что это фильм для меня. Он все почти, почти все расставил во мне по своим местам. К «жертвоприношению» нужно быть готовым: способным на жертву во имя гармонии. Это мой фильм, моя тайна.

Сколько людей принесли себя в жертву после аварии, а что изменилось? Что изменилось на станции, в людях, для людей? Еще больший хаос... Ложь правит миром. Ложь и лицемерие. Если бы хоть что-то изменилось, я бы поверила. Ничего. Посылающие на смерть здравствуют, защищенные ложью.

Сначала было Слово... Но мы не договарием — какое! Можно пренебречь словом, нельзя — тайной.

...Щеки Елены покрылись горячечными пятнами. Она пересказывает не только фильм, но и свои мысли, давние и новые. Ее взволновало и то, что маленький мальчик оказался к высшей тайне ближе, чем взрослые. Отец рассказал сыну легенду о сухом дереве, которое вновь ожило и пустило корни, потому что человек, преодолевая и трудности пути, и свои слабости, носил воду и поливал его — принес себя в жертву. И был вознагражден: дерево зацвело. Только орошенный высшим смыслом разум способен не только сберечь живое, но и оживить мертвое. Отец и сын садят в землю сухое дерево. Мальчик готов к высшей жертве, осмысленной и освященной тайной — горней.

Мальчик похож на своего отца, он — слово отца. Но этого мало. Сначала было слово... А значит, чтобы изменился мир, мальчик должен стать Словом Отца. От вещей видимых и все же несовершенных нужно идти к вещам невидимым, высшим — к Духу. Только на этом пути возможно дело, которое изменит и человека, и жизнь.

— А у меня три мальчика. Три! К какой жертве готовить их?

Да, да, да. Человек никогда не станет счастливым, если совесть его проснется. Значит, то же вечное страдание, та же вечная мука... Но ведь на пути дела! На пути к Духу! Жертвоприношение вознаградится!

Бред, да?! Бред?! А что истинно? Во что мне сегодня верить? После атомной микрокатастрофы, репетиции апокалипсиса. В то, что наука требует жертв?! В этот цинизм? В эту ложь? Да, я сама всю жизнь лгу: себе, детям, людям. Вынуждена лгать. Ну, может потому, что сама я никудышняя... Может. Но я ханжа,

как тысячи других. Я притворщица, как миллионы других. Не могу больше! И не могу больше молиться идолам на час. Я хочу иметь вечного идола, вечный смысл!

...Елена перешла на другую работу, монотонную и монологичную. Ее никто не удерживал, ни о чем не спрашивал.

Однажды она нарядила детей и повела в церковь...

— Да, окрестила! Всех троих. Старшего на фильм сводила. Он меня любит — он понял меня. И в доме у нас был праздник. И я им читала наизусть: «...И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь», и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими... Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их и третья часть дня не светла была, так, как и ночи...» В этом — тоже моя правота! Но главное — меня отпустило: а вдруг и правда защитит их в жизни сверхчеловеческая сила?.. На человеческую у меня надежд почти не осталось. И не судите меня — да не судимы будете. У каждого есть право на свой путь к истине. Нужно во что-то верить.

На станции время от времени появляется женщина. Она подходит к памятной плите и кладет цветы. Ее никто не тревожит. Ее горе свято. Но его разделяют все, кто был причастен к жертвоприношению. Она уже не плачет — она помнит.

Он приказал ждать...

«Природа, я твой дикий зверь».

И. Винтерман

А может быть, это душа моя блуждает в образе колли на обожженных лапах?..

...Ее не тронули. Возможно, еще и потому, что была она красива той особой собачьей красотой, за которой — не только порода и безупречный окрас, но и мудрость одаренной от природы и грация уже рожавшей суки, чуткость внезапного одиночества и благородство скорби. Не поднималась рука накинуть проволочную удавку и остановить немое вопрошание глаз... Не поднимала рука затаившуюся в стволе маленькую пулю — так тяжела была пуля перед черной мишенью блестящего зрачка... Не принимала рука протестующего жеста, хотя сам вид ее был укором. И все же встречаться с колли было тяжело. Стыдливо клали кусок колбасы или сыра и спешили прочь. Или обходили стороной. Или закрывали лицо руками. Или не поднимали головы.

Хозяева уехали внезапно, приказав ждать. И Гера ждала. Прошел остаток дня, прошла ночь. Потом еще день и еще ночь. Она забеспокоилась. Из-за своей собачьей нужды. Жалобно скуля, обошла комнаты и остановилась у дверей, ведущих на лоджию. Осторожно коснулась зубами шпингалета. Села, нетерпеливо постукивая хвостом. А что скажет хозяин? Все же это не место, где ее выгуливали... При воспоминании об улице взвизгнула. Железо звякнуло о зубы, и дверь подалась вперед...

Обратно вошла, виновато поджав хвост и стыдливо озираясь. По морде пробежала судорога. Ощущение беды возникло у нее еще в ту ночь, когда от внезапного грома дрогнули стекла. Она любила дождь и не боялась грома, но в этом раскате ее насторожили незнакомые звуки... Поспешный отъезд хозяев усилил ощущение тревоги. К тому же из соседней квартиры доносился протяжный вой.

Вой будил ее и по ночам. Гера знала по голосу, что это черный Рэм, с которым она нередко играла во дворе и в лесу. У Рэма была белая хозяйка, маленькая и проворная. Гера ничего против нее не имела, хотя радовалась, что у нее черный хозяин, высокий и крепкий. Обычно Рэм даже лаял редко. Сейчас в его надломленном голосе бился страх. В такие минуты ей хотелось присоединиться к этому захлебывающемуся плачу, изредка прерывавшемуся глухим хрипом. Но она знала: хозяин этого не любит! Тяжело поднималась с коврика и начинала ходить взад и вперед по длинному коридору, неизменно останавливаясь у входной двери. Прижав нос к щели, жадно тянула. Собачьи уши, чуткие к малейшему шороху, подрагивали от нетерпения. Но за дверью по-прежнему царила изматывающая тишина. Так встречала Гера рассвет.

Давно съедено все, что оставил хозяин. Но сильнее голода мучила жажда. Гера привычно открыла на кухне кран, но вода не шла. Каждое утро замирала она против раковины и смотрела на кран до тех пор, пока в ушах не возникал шум вытекающей воды. Он стремительно нарастал, но вода все не шла. Гера в страхе убегала на лоджию. Но и здесь беспокойство не исчезало: улицы, как и прежде, безжизненны, в окне напротив скребет стекло худой белый кот, и еще отчетливей слышится булькающий плач Рэма.

Однажды Гера заметила, что из-под холодильника вытекает тоненькая струйка воды, — горячий шершавый язык все лизал и лизал высушенный линолеум, но жажда не проходила. Откуда-то вытекала, медленно разбухая, и падала на пол призывная капля, за ней, так же медленно, другая, потом третья. Гера ждала — капель было так мало для ее огнедышащего языка.

На другой день капли застучали быстрее, собираясь в лужицу. Гера пила до одышки, а вода не убывала. Она догадалась... Рванула зубами дверцу холодильника — вода хлынула на пол. Запахло тухолью. Гера, поборов отвращение, вытащила кусок мяса...

Ночью впервые спала спокойно. Утром вскочила от звона разбитого стекла — Рэм выбросился из окна. И она завывала, заметалась по квартире. Потом бросилась к двери и с остервенением стала рвать скользкий дерматин.

Хозяева появились неожиданно. С визгом бросилась им навстречу, облизывая руки и слабея от восторга. Но ответной радости не было. Хозяйка, увидев клочья ваты на полу, бросилась на кухню, потом в комнату... Бил Геру хозяин. Хозяйка плакала: «Теперь, наверно, все грязное...» Гера не убегала — виновато поджимала худые бока и вздрагивала от ударов. Она знала слово «грязно» и думала, что ее наказывают за изгаженную лоджию.

И все же радость Геры была острее боли: хозяева вернулись! Теперь все пойдет по-прежнему. Она сидела на своем коврикe в коридоре, жадно прислушивалась к родным голосам.

Хозяева доставали из шкафов и укладывали в белые мешки немудреные пожитки. Гера заволновалась: они снова уедут! В это время хозяин с мешком на спине направился на улицу. Гера шмыгнула за ним в открытую дверь. Обратного ее не пустили: «Жди здесь!» Она покорно уселась возле машины. Хозяин выносил мешки и бросал в кузов крытого грузовика. Был он тороплив и хмур. От него исходил резкий неприятный запах. Гера пыталась поймать его взгляд, порывалась к нему, но каждый раз останавливало резкое: «Сидеть!»

Наконец хозяева вышли. Заговорили о ней. Гера, услышав свое имя, застучала хвостом, нетерпеливо переступая с лапы на лапу, жалобно заскулила: что-то беспокоило ее в споре хозяев.

Хозяйка забралась в машину. За ней полез хозяин. Гера недоуменно тявкнула. Он обернулся: «Жди, Гера!» Это «жди» испугало: она уже ждала, и это было страшное ожидание. Рванулась следом. «Жди, Гера!» — ласково прошептал хозяин. Но эта долгожданная ласка только подхлестнула — собака залаяла, запрыгала около машины. «Жди, Гера! На место!» Дверца захлопнулась. И с этим хлопком внутри Геры что-то оборвалось — судорогой свело живот, и содержимое желудка подступило к горлу. Машина тронулась. Собака — за ней, разбрызгивая рвоту и путаясь лапами. А навстречу ей летело и падало надсадное: «Назад! На место, Гера!»

Она вернулась к дому поздно вечером. Вошла в темный подъезд. Долго прислушивалась. И вдруг огромными прыжками помчалась по лестнице на-вверх. С размаху ткнулась в дверь квартиры — заперто, осторожно поскреблась — тихо. И вновь острая боль пронзила живот...

Каждый день к домам подъезжали машины. Люди спешно грузили в них знакомые мешки, и Гера знала: они тоже уедут. Она садилась в стороне и смотрела. Ее жалели — чувствовала по голосам, ее кормили, ее даже звали с собой. Но это были чужие люди, чужие голоса — родной приказал ждать. Она провожала машину за машиной, потом обходила подъезд, обнюхивала разбросанные по лестнице вещи. Однажды наткнулась на дохлую кошку, лежавшую на одеяле. Обошла вокруг с поджатым хвостом. Предупреждающе зарычала и, вцепившись в край одеяла, потащила на улицу.

Приближалась осень. Все реже и реже приезжали на машинах люди, все тревожнее и холоднее становились ночи. Гера трусила по обочине дороги, ведущей на станцию, — здесь она была с хозяином, здесь мог быть хозяин. Правда, что-то случилось с лапами: облезла кожа, обнажив мясо, покрытое присохшими острыми песчинками — ступать было больно, но боль притупляла собачью тоску. Уселась в сторонке, недалеко от входа. Здесь всегда были люди, множество людей, и колли старалась уловить знакомый жест.

Однако все здесь казалось Гере враждебно-беспощадным: захлопывающиеся дверцы ревущих машин; задранные вверх, как собачьи морды, трубы; непрерывная вода, рвущаяся из шлангов и заливающая землю; тошнотворные запахи, чужие хриплые голоса, перекрываемые воем сирены... За бранью, скрежетом и рыком железа, визгом тросов угадывала Гера ту громовую ночь, не пролившуюся дождем, после которой уехал хозяин.

Колли осторожно облизывала ноющие лапы, изредка косясь по сторонам. Что-то настораживало. Что-то изменилось вокруг и в ней самой. Гера забеспокоилась. Возбуждение нарастало... Мир из из черно-белого превращался в будоражаще-разноцветный, и даже лапы, ее лапы, всегда привычно черные, стали другими — розовыми. Обессиленно-злобно зарычала. Но разноцветное не только не исчезало — становилось ярче и отчетливей. Колли замечалась: хаос красок раздражал, обострял чувствительность, обессиливал. Мир перевернулся. Она чувствовала его смертельную обновленность, бесполезность и обезображенность красок здесь, в этой бедственной и бедствующей суете людей и машин, воды и огня. Она завывала, пугаясь собственного голоса — тягучего, нутряного, каленого. Этот вой уносился в чистую голубизну поднебесья, не возвращающего даже отголосков...

Новоселье

Каждый день, вернувшись с работы, я отвечала на вопрос дочери «Не дали жилье?» — усталым «нет...». И только в конце октября опередила вопрошающий взгляд: «Дали!»

Первого ноября мы вошли в пустую квартиру только что построенного дома с сумками и купленным по дороге караваем хлеба. Мама, оттеснив меня от двери, вошла первой и, что-то шепча, разбросала в пустой квартире монеты. Дочь бегала из комнаты в комнату и вновь задавала бесконечные вопросы: «Как же мы будем жить без мебели? Где мы будем спать? В какую школу я пойду?»

Мы не разделяли радость дочери. На серых потолках — желтые разводы. Обои в маслянистых пятнах. Линолеум — до невозможного! — закапан краской. Из всех кранов капает вода, она течет и из батарей. В ванной — гора металлолома: остатки труб, обрезки листового железа, кусок батареи... и «козел» — приспособление строителей из нестру-ганных досок.

Остаток дня мыли полы и окна, перебеливали потолки, сдирали в коридоре обои. «Козел» оставили в качестве стола, соскоблив с него грязь и цемент и застелив газетой. Позднее на нем дочь готовила уроки, сидя на стиральной машине.

...Приобрели телевизор, поставили на пол, воткнув вместо антенны проволоку. Включили: «...где-то в начале июня развернулись работы по строительству жилья для эвакуированных из зоны аварии на Чернобыльской АЭС. Работы велись такими темпами, каких еще не знало отечественное градостроительство. Десятки киевских предприятий и строительных организаций направили лучших специалистов на стройплощадки. Их самоотверженную работу можно смело сравнить с работой тех, кто сегодня занят ликвидацией последствий аварии четвертого блока ЧАЭС... В воскресенье на центральной площади Здвижевки состоялся митинг, посвященный открытию нового села. Слово предоставляется...

— В рождении этого и многих других поселков ярко проявились великие силы нашей партии, ее исключительная забота о благосостоянии, о жизни, в конечном счете, советских людей... Да, наша партия делает все, чтобы сохранить мир на земле. И этот поселок является олицетворением мудрой ленинской миролюбивой политики. Пройдет не так уж много времени, сотрутся горечь и беда в памяти нашей, а здесь будут жить люди, новые поколения советских людей, а все это еще раз докажет величие нашего духа, величие наших коммунистических целей...

Сегодня в Здвижевке поселилась триста шестьдесят одна семья из Чернобыльского района...»

«Выключи...», — попросила мама и принялась сооружать из одеял и пальто на полу постель. Утром мы встретили знакомую, рассказавшую о том, что Ольга покончила жизнь самоубийством. Отравилась. Из-за неопределенности в решении квартирного вопроса для строителей. Осталось двое детей. После ее похорон был «бабий бунт», далекий от шолоховского.

... Дочь ушла в школу. Я с хозяйственной сумкой отправилась в магазин «Новосел». Возвращалась с молотком, пилкой, отвертками, рубанком, дрелью, набором шурупов и мешочком гвоздей. Навстречу знакомый журналист.

— Ты знаешь кого-нибудь из наших строителей? — спрашиваю.

— Знаю, а что?

— Квартиру получила — надо осваивать строительную специальность. Отец говорил: дай бог все уметь, да не все делать. Но делать приходится все... Так назови мне фамилию бригадира, например.

— Да... Чудите после эвакуации... Вот... Виктор Семенович Артеменко, заслуженный строитель Украинской Советской Социалистической Республики, лауреат Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Ленина.

— Сколько лет строит, знаешь?

— Тридцать пять...

— А сколько построил?

— В бригаде около тридцати человек, ежегодно сдают до тридцати шести тысяч квадратных метров полезной площади жилья.

— Ты и телефон его знаешь?

— Есть и телефон.

— Позвони ему и спроси: для кого он строил и где его дома?

— Зачем?

— Привет хочу передать! Домам!

— Чудите вы после аварии...

...Разбирали привезенные из Припяти мешки с вещами. Дочь меняла под батареями банки — трубы текли в нескольких местах, а сантехники все не шли, несмотря на мои остроумные заявки.

В дверь позвонили. «Не желаете ли оббить — зи-,ма скоро, а у нас дерматин дефицитной расцветки». — «Очень даже желаем. И замок надо переставить: этот сломан». Работали ловко и быстро. Сделали на совесть и всего за один час. «Пятьдесят рублей за дверь и десять за замок...»

Мама позвала ужинать — привычно встали у подоконника с вилками.

— Ты извини, дочь, но я уеду. Не могу больше...

— Да что ты, мама, все образуется. Вон на проспекте 40-летия Октября в доме номер сорок шесть «А» с потолка течет, люди кровать из угла в угол переставляют, чтобы не капало...

— У нас и капает, и переставлять нечего... Тебе легче сначала начинать, еще можно, а я уже не могу — поздно.

...Приехала в мебельный магазин, настроенная воинственно: не лето — спать на полу холодно; не уйду, пока не дадут кровать хотя бы для ребенка. Магазин гудел, как пчелиный рой, — сотни эвакуированных толпились в очередях. Расхристанные, распаренные женщины ожесточенно бранились. Я подошла к молоденькой продавщице. «Девушка, мне бы кровать, для ребенка, я тоже оттуда...» Она ткнула пальцем в никелированную — с металлической сеткой. Рядом с румынской полуторной, на которой стояла табличка: «Для работников Чернобыльской АЭС. Только по талонам», эта железная несуразица времен бабушки казалась насмешкой... Полезла за носовым платком, сразу потеряв боевой настрой. Продавщица отвернулась. Я опустила на выставочный стул. «На нем нельзя сидеть, — сказала продавщица резко, но вдруг добавила — Зайдите к директору, кроватей много, может, продадут так...»

К директору вошла, как входят жалкие просители, заранее приготовясь увидеть... Но он все сразу понял: «Конечно, берите, вещь дорогая, но ребенок растет — окупится».

Назавтра у нас был первый праздник, первый после эвакуации. Только мамы не было — уехала...

Сантехник чинил трубы и краны.

— Отвертка есть?

— Есть.

— Краска есть?

— Есть.

— Гаечный ключ есть?

— Ключ... гаечный. Нет...

— Надо иметь: вас много — я один, на всех не напасешься, ничего не дают. Этот пластмассовый шланг надо менять, не годится он, лопнет, купите резиновый. Сантехнику тоже надо менять.

— Она же того... новая.

— Новая, да негодная. — Он подтягивал гайку на трубе, разбрызгивая краску, в которой была смочена пакля, по стене. — А здесь нужен цемент. Есть цемент?

— Нету...

— Значит, и дела нету. Приготовите цемент — тогда и сделаю.

— Но я же не виновата, что в новом доме нужен капитальный ремонт.

— А кто виноват? Для вас же, чернобыльцев, старались — спешили строить.

Поехали на Троещину — жилмассив, где несколько тысяч семей припятчан. У многоэтажного дома — группа подростков, многих знаю в лицо. Разговорились.

— Мы поодиночке не ходим — киевляне бьют. Только и мы в долгу не остаемся — терять нечего...

— Стекла бьют, двери режут — злятся, что квартиры у них забрали. Пацаны, конечно.

— Да не мы первые, не мы. Пошли наши в кафе-бар, а их избили. Ну ребята собрали наших и разогнали киевлян. Те на следующий день целую шару привели и ловили по одному, по двое. После этого любой наш ломается на помощь, даже мужики бегут на подмогу.

— Договорились однажды — вышли в поле, за дома. Больше сотни было. Хотели' испытать: все встанут в круг, а десять на десять или даже один на один докажут свое право на жизнь на Троещине. Но приехала милиция...

— И на Харьковском шоссе так же.

— Я вот родился около Горловки, так там был у нас запущенный парк — ребячьи трущобы, голубятни там были наши, шалаши. Там все курили. Словом, хулиганили тайком. Но открыто били сына директора завода. Каждый день били. Били за то, что лучше нас одет, за то, что его папа ездит на машине. А мы — дети шахтеров, дети пролетариев. Но мы и уважали этого парня за то, что он умел защищаться. Потом за это и простили. Правда, они все же переехали в другой район. И здесь мы защищаем свое достоинство. Методы? А других просто не дано.

— Да помиримся, помиримся. Мы же не тайные буржуи.

— А я бы с удовольствием вызвал на дуэль владельца черной «Волги». Вроде бы обкомовская... Это двадцать шестого апреля было. Ее мыли у горкома из шланга на виду у всех, и никто не знал, почему моют... А в этой воде, совсем рядом, детишки кораблики пускали. В Припяти, в Припяти. Как блестела эта «Волга»!

Получила письмо из Кишинева. Пишет женщина, что жила до аварии в Припяти: «...Если разобраться, все более или менее стало на свои рельсы: есть квартира, есть необходимое в квартире, телефон, машина, из которой я не вылезаю. Работа, пусть не совсем то, что надо (я ведь газетчик, а не журнальный работник),

но есть. Но веришь, такое чувство, что я умираю, медленно, постепенно иду к своему законному инфаркту, инсульту или... Я не могу пережить всего этого, а на то, чтобы обменяться, вернуться на свою землю, нет ни моральных, ни физических сил, да и где гарантия, что будет лучше? Наверное, Чернобыль очень рано нас перестроил — не все окружающие к этому готовы.

Нет сил субботничать... Тоска по друзьям неимоверная, трудно на чем-либо сосредоточиться. Дьявольская погода усиливает это жуткое состояние, теребя душу какими-то снежинками, которые, касаясь земли, тают и образуют грязь. Вот так и люди, наверное: пока летают — они люди, но когда им подрезают крылья, они падают и тоже становятся грязью. Думаешь, небось, что я свихнулась... Нет. Очень трудно держаться на лету — невозможно подняться из грязи. Иногда думаю: не буду ни во что вмешиваться, ведь что нужно для полного счастья нам сейчас: покой и питание, ну еще плюс мужичонко неплохой... А душа бунтует. А впрочем, готовь силенки и прости мою невыдержанность. Искренне ваша Зинаида Гурская».

Поехала в Бородинский район посмотреть на новоселье сельских жителей. 1190 домов построено для эвакуированных из Чернобыльского района, 500 из них — киевскими строителями. Самое большое село — Небрат: 560 усадеб, самое маленькое — Берестянка: 250 домов.

На скамеечках возле домов судачат, поплакивая, женщины. Все — новое, лучше и красивее прежнего. Но нет единения между усадьбами и людьми, словно дома — сами по себе, люди — сами по себе. Еще держится запах сырого бетона — пирогов не пекут, да и у печей не стоят часами, как раньше. И не держится в домах уют, несмотря на ковры и новенькую мебель. Вот и сидят на скамеечках, бередя друг другу душу...

Решила упростить себе жизнь: утром заранее составляла список вещей, которые нужно купить, сортируя по принадлежности, — электротовары, стройматериалы, краска, посуда, и договаривалась с таксистом. Вместе ходили по магазинам, советовались, выбирали, складывая свертки и коробки на заднее сиденье машины. Продавцы давно перестали удивляться — все подряд покупают только припятчане да чернобыльцы... А вечером после работы отстраненно распаковывала добро. «Скоро у нас опять все будет!» — радовалась дочь.

Отпраздновать новоселье так и не решилась. Минул-канул год, а все еще не обжилась квартира, остается холодной. А в Припяти цолчища мышей и крыс потрошат подушки и сгрызают клей с обоев. А в селах холеные лисицы пасут около хат стайки кур, каждая — свою. А вокруг — самосейные поля, елочки пускают новые побеги с длинными, как у сосны, иголками. Не решилась отпраздновать новоселье...

Сережкины игры

Сережка играл, не обращая внимания на взрослых. Валентина же привела Анну в детскую, чтобы похвастаться сыном: не просто умен — остроумен! — как говорится, развит не по годам. У Анны возможностей больше, чем у Валентины, да и дом — полная чаша, — зато у Анны нет Сережки...

— Я всегда знала, что у меня будут вундеркинды, — вполголоса говорила Валентина. — Порода есть порода. Можно было кучу рожать, да разве при наших достатках обеспечишь всем светлое будущее? Вот и с одним в настоящем еле концы с концами сводишь. А одному ребенку в семье плохо — одиноко. Сам с собою разговаривает...

Кубики-кирпичики с легкими шлепками ложились друг на друга.

— Что ты строишь, Сергей? — спросила Анна.

— Электростанцию. С атомом.

— Атомную, значит.

— Ага, как у нас в Припяти.

— А этот небоскреб что означает?

— Небоскреб... Небо скребет! Точно, тетя Аня, точно! — оживился Сережка. — Это труба для радиации.

— Не бывает труб для радиации, — невольно поморщилась Анна.

Валентина, ревниво следившая за этим диалогом, вспыхнула: горячечные пятна выступили на щеках, на виске вздулась жилка.

— Все вы так говорите: не бывает, не может быть. А потом оказывается наоборот, — отрезал Сережка и отвернулся.

Валентина победно глянула на Анну. Анна улыбнулась.

Закончив строительство, Сережка принялся рассаживать на диване игрушки: медвежонка, зайца, Чебурашку и еще какое-то непонятное плюшевое существо.

— Что сейчас будет! — подмигнула Валентина и приложила палец к губам.

Сережка достал из нижнего ящика письменного стола коробочку со значками и стал раскладывать их перед собой.

— За ударную работу и примерное поведение в быту награждается Михаил Медведев, — торжественным голосом провозглашает мальчик и, приколов значок на грудь медвежонку, хлопает в ладоши.

Валентина тоже хлопает. Сережка бросает на мать снисходительный взгляд и продолжает процедуру награждения.

— За ударное поведение в быту и примерную работу награждается Касьян Зайцев. Молодец однофамилец!

— Во игры! — утирает слезы Валентина. — Во бюрократ растет! А какова оговорочка: ударное поведение в быту!..

Анна тоже смеется, прикрывая остренькие зубки маленькой ладошкой.

— ...награждается Урод Неизвестное, — заканчивает Сережка ритуал и ждет одобрения.

— Это у него старая игра, — потирая покрасневшие ладони, говорит Валентина, — только игрушки новые — прежние по ту сторону горизонта. Правда, с отцом у него еще забавнее получалось.

— Не детские игры, — медленно произносит Анна. — Зря вы это...

— За самую хорошую работу награждается мама Валя, — прерывает Анну Сережка. — Самый большой значок мамуле!

— Отказываюсь! Категорически! — машет руками Валентина. — Мне лучше деньгами. Я против научно-технического прогресса, разрушающего среду обитания человека.

— Тогда взрывай, — с сожалением говорит мальчик. — Будешь вредителем.

В лице Валентины что-то дрогнуло.

— Может, сынок, не будем взрывать, — надоели ужасы.

— Все равно взорвется, — жестко говорит Сережка. Он подбегает к высокой трубе и со злостью пинает нижние кубики. Пирамида рассыпается. Сережка бросается на диван и плачет.

Анна испуганно глядит на Валентину.

— За отца переживает, — тихо отвечает Валентина. — Каждый день почти одно и то же: мстит за отца...

— Да что случилось?! — округляет глаза Анна.

— Все знают, а ты не знаешь? — прищуривается Валентина. — Мне доброжелатели своими вопросами всю душу искорежили, Сережку не пощадили... Мы со своим развелись еще до аварии — надоели пьянки. Но сын привязан к отцу. Они каждый день встречались.

Сережка затихает, прислушиваясь. Его спина вздрагивает от напряжения.

— Ты зря плачешь! — обращается к сыну Валентина. — Трус есть трус... Сбежал его родитель после аварии — и следов не найти. Сколько я из-за него сраму пережила, сколько слез пролила. Всегда знала, что не герой. Но чтобы удрать в такой момент!..

— Папа хороший, хороший, хороший, — не поворачиваясь, кричит Сережка.

— А если хороший, так что же не напишет тебе? — вскакивает со стула Валентина.

— Напишет, — уверенно говорит мальчик, — он же не знает, куда нас поселили, в каком городе.

— Давно бы нашел, если бы хотел. Доигрался, голубчик!

— Ты помнишь, какие он игры интересные придумывал? — улыбается Сережка, пытаясь поймать руку матери. — Помнишь, как ты шахматы спрятала? — Он просительно смотрит на мать, поворачивается спиной к Анне.

— Да, помню, сынок, — дрогнувшим голосом говорит Валентина, — я все помню.

— Расскажи тете Ане, мам, расскажи про это.

Валентина, обняв сына, садится на диван.

— Они у меня заядлые шахматисты. Сережка с четырех лет играет. Я не против шахмат, но уж больно хитрыми хотели быть: как заставляю что-нибудь сделать, так они скорее за шахматы — делом, значит, заняты настоящим, мужским. Долго я терпела! Однажды не выдержала и спрятала шахматы, а сама легла и читаю книгу. Они смылись на кухню. Вдруг слышу: что такое? — знакомый диалог... И умирают со смеху, и

острят напропалую: офицер докомандовался, пешка пошла на повышение, нормальные герои всегда идут в обход, некормленный конь — скотина... Играют!

Я на цыпочках, тихонько... И что вижу? Пол у нас на кухне был покрыт линолеумной плиткой, белой и коричневой, — его и приспособили вместо шахматной доски. А вместо фигур... Ни за что не догадаешься! — кивает Валентина Анне.

— Бутылки! — кричит счастливый Сережка. — Из-под пепси — это пешки. Пивные — офицеры. Молочные — турки. Бутыли из-под шампанского — кони.

— А водочные — конечно, король и королева! — заканчивает Валентина.

— И я тогда выиграл! — ловит руки матери Сережка. — Ты забыла что ли? Я тогда выиграл!

— Я помню... Ты настоящий мужчина — умеешь побеждать.

— А кто меня научил побеждать? — выставляет Сережка свой главный козырь. — Папа.

— Боже! — вскакивает Анна. — Как хорошо, что у меня нет детей. Не хочу вундеркиндов. Зачем вы учите его изнанке жизни, зачем?

— Какой изнанке? — напружинивается Валентина. — Какой изнанке? Сама стерильная и хочешь, чтобы все такими были, сказочки читали... Он в шесть лет Чернобыль пережил! Почему ему достался Чернобыль? Кто его не уберег? Кто обманул?

— Надо, чтобы он забыл все это поскорее! — перебивает ее Анна.

— Забыл? Ну уж нет! Пусть помнит всю жизнь. Пусть знает жизнь такой, как она есть. От меня знает. Сейчас знает, чтобы потом дрался за жизнь, защищал ее.

— От кого и от чего? — ахает Анна.

— От Чернобылей — вот от чего! Он уже сейчас умеет это делать: отца защищает. Правильно делает: кто-то же должен его защищать. Сын своего отца знает лучше. Да Зайцев в принципе добрейший человек, только нескладный какой-то. На его глазах рухнула стена... Может быть, именно в этот момент и сломался человек?.. Чудовищная ночь... А что? Стены могут ломаться, пароходы могут разваливаться, железо может лопнуть, а человек нет? Потому что не принято, не положено? Легко заклеить: трус! А может, он честнее того, кто из страха остался... Добрые слабее.

— Он добрый, мам, он добрый, — гладит руку матери Сережка, — ты его не ругай. Папка не трус — просто атом нельзя победить.

— Не буду больше. Мы с тобой сами его разыщем. Поможем, поддержим. Только ты не взрывавай атомную, сын, — всхлипывает Валентина. — Победить можно и атом. Играть с ним только не надо. Давай я и тебе помогу собрать игрушки.

— Сумасшедший дом! — хватается за виски Анна. — Ты, Валентина, калечишь ребенка, отнимаешь у него детство.

— Ладно, Анна, ты иди пока, а мы сами разберемся. По-человечески.

Лжи они не перенесут

Врач Виктора суров и немногословен. Через его милосердные руки прошли сотни больных. Тревожит судьба каждого, поэтому не утихает боль в душе, не исчезает усталость из глаз. И его рассказ — это рассказ не только врача, но и человека, разделившего вместе со всеми судьбу Чернобыля.

— Виктор 1958 года рождения. Начальник смены реакторного цеха. Выдвинут на эту должность в период аварии. Женат. Имеет двоих детей. Семейная жизнь благополучна. Наследственность психическими заболеваниями неотягощена. Трудолюбивый, с развитым чувством ответственности. Честный и принципиальный. Самочувствие в период аварии, несмотря на огромное психическое напряжение, нормальное. Отсутствие отдыха компенсировал крепким чаем или кофе, но бессонницей не страдал.

В ноябре 1986 года он ушел в отпуск и по путевке уехал в Эстонию в молодежный студенческий дом отдыха. Резкий переход от обстановки максимального напряжения, когда все делалось на одном дыхании, к расслаблению привел к ухудшению самочувствия. Снизилось настроение. Игнорировал массовые мероприятия. Стал замкнутым. И вот тут произошло то, что рано или поздно все равно бы случилось...

Когда появилось время думать, Виктор стал переосмысливать не только аварию, но и всю свою жизнь до нее и после. Энергетик, специалист, веривший в необходимость, важность и гуманность не только своей профессии, но и отрасли экономики — атомной энергетики, чистого производства, начинает сомневаться. Он анализирует, итожит и приходит к неутешительным выводам...

Появляется страх — вот где настоящая ответственность! — за людей вообще, за тех, кто трудится на других станциях. И не без оснований. Строительство Крымской АЭС ведется на тектонических разломах в условиях близости к поверхности грунтовых вод. Сооружение Ровенской АЭС на карстовых землях, что привело уже к дополнительным затратам: более ста миллионов рублей! Отсутствие надежных средств защиты. Возникает вопрос: рентабельны ли атомные? Гуманно ли их строительство без учета стоимости человеческих жизней? А если взять только экономическую сторону, например, при демонтаже. В сентябре 1985 года в США начат демонтаж АЭС Шиппингпорт, мощностью 60 МВт, которая была построена в 1957 и остановлена в 1982 году. Стоимость сооружения данной станции — 121 миллион долларов. Стоимость демонтажа около 100 миллионов долларов. Демонтаж намечено закончить в 1990 году. Так сколько стоит атомная электростанция без энергосберегающих технологий? Сколько затрачивается средств — материальных и людских — при ликвидации аварий? Трудные вопросы, но как жить и работать дальше, не ответив на них?

Вслед за этим Виктор начинает переосмысливать и свои действия во время аварии, в период ликвидации ее последствий, и находит ошибки. Усиливается чувство вины. Порой оно нестерпимо.

Чтобы как-то отвлечься, хватается за книгу, но испытывает при чтении затруднения, память не сохраняет прочитанного. Появляется неуверенность в себе, в своей полноценности и возможности полноценного выполнения любимой работы. Появляется страх потери работы. Страх, что никому не нужен!

Переживания были настолько сильны, что он досрочно уехал домой, надеясь, что в семейном кругу станет легче. Но куда убежишь от себя? Ожидания обманули. Еще более замкнулся, не проявлял никакого интереса к улучшению бытовых условий, хотя все нужно было начинать заново.

В надежде, что на работе быстрее сумеет собраться, выйти из состояния депрессии, 15 января 1987 года приехал на вахту. Спустя неделю попал в поле зрения группы психиатров и психотерапевтов, занимавшихся психоэмоциональной разгрузкой персонала АЭС. Больному было назначено лечение, но

никакого эффекта оно не принесло. И тогда его направили в поселок Зеленый Мыс ко мне для решения вопроса о трудоспособности.

Я назначил лечение. Предложил больничный лист, от которого он отказался.

На что жаловался? На ухудшение памяти, вялость, снижение работоспособности, затруднение выполнения привычной работы, на опасения потерять работу, заслуженную на деле должность в самый напряженный период.

Я рекомендовал ему лечение в стационаре. Он сразу согласился, без всяких реакций. Сказал, что ближайшим же автобусом выедет в Киев. Но спустя четыре часа его доставили в хирургический кабинет в полубессознательном состоянии из-за массивной потери крови... Перерезал вены на руках...

Сейчас психическое состояние Виктора тревог не вызывает. И все же...

Я бы разделил психотравмирующую ситуацию в течение года со дня аварии на несколько периодов: шоковый, период напряженной неопределенности, предпусковой и пусковой и период разрешения психотравмирующей ситуации. И все это люди испытали на себе... Противоречивость, неполнота, а то и искаженность информации об аварийных событиях, невнимание к судьбам приводило и приводит не к радиофобии, а к депрессиям. Убежден, что исцеление не только в медикаментах и санаториях, но и в правде о Чернобыле. Эти люди вынесли все, именно поэтому лжи они просто не перенесут. Без правды, как бы горька она ни была для непосвященных, спасти людей от боли, вернуть им ощущение жизни как счастья вряд ли удастся.

Похороны дедовой хаты

Генка, вернувшись из школы, привычно направился в комнату деда. Хотел постучать — и не постучал: ни шороха тебе, ни звука. «Может, уснул?» — подумал он и бесшумно приоткрыл дверь. Старик плакал. Генка остолбенел: из осоловевших глаз деда выкатывались крупные мутноватые капли и, попадая в бороздки морщин на щеках, стекали по ним к опущенным уголкам губ. Дед время от времени слизывал слезы и пошевеливал скрюченными пальцами. Героический дед, бывший партизан, разведчик — плакал!

— Ты что, дед? Что случилось? — спросил внук. Старик повернул седую голову.

— Я и забыл, что ты должен прийти. Выйди на минуточку...

Генка, вконец растерявшись, резко захлопнул дверь и прислонился к косяку. С дедом у него были давние дружеские отношения — доверительные и прочные. Но он и любил старика, во многом заменившего ему вечно занятого отца. Увиденное встревожило, придавило. Казалось, минула вечность, пока дед вспомнил о нем, хотя прошло две-три минуты.

— Заходи, внук. — Голос был спокойный и ласковый. Как прежде. Как обычно.

Генка вошел. Старик сидел в прежней позе, но лицо его, осунувшееся и затвердевшее, было сухим. Только красные пятна на лбу и на носу выдавали недавнее волнение.

— Садись, — кивнул дед. — То, что ты видел мои слезы, наверно, плохо. Но то, что я плакал на восьмом десятке лет, впервые в жизни, запомни до конца дней своих.

— Но что случилось? — встревоженно повторил Генка свой вопрос.

— Встретил я сегодня Тимофеича, друга своего фронтового. Вместе и партизанили. Поведал Тимофеич, что сносят наши хаты — не поддаются дезактивации.

— Это и все? — облегченно вздохнул Генка. — Так ведь в Киеве, дед, гораздо лучше.

Дед побагровел.

— Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что тут, что там. Ты родился в казенном доме, вырос в казенной квартире. А нашу хату мой отец строил, на месте старой хаты — дедовой. Всю жизнь строил. Все, что зарабатывал, шло на постройку. Для детей строил. Я в этой хате и родился, там мой пупок резан...

— Чего же теперь жалеть, если вернуться в свою хату ты уже никогда не сможешь? — перебил внук.

— Вот я и думаю: не понять тебе... Два брата родные, и оба Иваныча, да один Дон, а другой Шат.

— Это как понимать?

— А так: один дельный, а другой шатун. Дон и Шат — две реки, обе из Иван-озера текут.

Я корнями врос в свою землю, мне другой — лучшей — не надобно... Вернуться не смогу, когда хаты не будет. Не к чему будет даже мысленно воротиться.

— Но память же твою никто не разрушит.

— Память действительно только смерть разрушает. Всего человека, со всеми потрохами, разрушает, не только память. Только это другое: без корня и полынь не растет.

Когда мертвых живые хоронят, — это естественно... А когда хаты хоронят, живые хаты, — это как для живого, а?

— При чем здесь похороны? Ты что, дед? — опять перебил Генка.

— Думаешь: рехнулся старик. Здоров! Здоровее, чем был. Ты вслушайся в то, что я говорю, в смысл вникни. Не скользи по словам, не соскальзывай, — обиделся старик. — В войну немец наши города и села рушил. Враг — он и есть враг. Тем более Гитлером вскормленный: сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку. Догда для нас как клятва звучали слова: с родной земли — умри, не сходи! Только я эти слова еще раньше от деда слышал: с родительской земли — умри, не сходи! А дед от своего деда... На Горынь-реке за родительскую землю дрался еще богатырь Добрынюшка со Змеем Горы-нычем. Может, и от него пошли эти слова?.. С ними я рос, поэтому и в сорок первом повторил их привычно-праведно. Кого же мне сегодня врагом считать: из хаты выгнали, хату собираются стереть с лица земли... А ведь я за эту хату кровь проливал. Какие здесь бои страшные шли! В Припяти вода так с кровью перемешалась, что напиться нельзя было.

— Но ведь понять можно, дед: экстремальная ситуация, крупнейшая авария...

— Нельзя понять! — взорвался старик. — Эстремальная ситуация... Почему она возникла-то, а? Случайность? Нет, дорогой внучек, не случайность. Медленно лишали жизнь устья, а лишили-такч, как лишили устья и Припять. Теперь вместо него рукотворное Киевское море. Вместо лугов и лесов — Чернобыльская атомная. А кто спросил полещуков, хозяев Полесья, хотят ли они этого прогресса на авось? Никто не спрашивал. За светом торопились, на ум поспешили, на сердце обленились, — вот и вышла тьма-тьмущая. Теперь спохватились: проект плох, реактор плох, работник плох. Только запоздала эта правда-то. Нет, внук, понять такое — значит, второй раз оправдать.

— Почему второй? — осторожно спросил Генка.

— Не годится наша земелька под атомные. Заповедная она. Потому и природа здесь особенная — чуткая, диковая, девственная. Разве можно красоту губить? Сколько живой земли под водохранилище ушло!.. Обмелела Уша, а ведь какая полноводная была — я помню. На моих глазах Припять с места на место перебрасывали, в новые берега загоняли. Лучше стала река? Заилилась, рыба ушла, безлесные берега тоскою дышат... А сколько озер погибло! Уток всегда в этих краях было видимо-невидимо. А где они сейчас, почему стороной облетают, гнезда свои бросили?

Ты вот спрашиваешь: почему второй раз? А ты вспомни, как разрушали села и переселяли стариков в город. Что сулили? Лучшую жизнь. И уговорами, и силой переселяли, обещая уют и праздность: вода — в кране, из живности — один, кот, поле — футбольное, сиди на скамеечке да смотри, как мяч гоняют. Прижились? Стала жизнь лучше? Да они нам, оставшимся в своих хатах, черной завистью завидовали. Каждый день тянулись друг за другом из города в село, к разрушенным очагам своим. Но все же мало-помалу пообвыклись. А теперь их второй раз переселили, тоже в новые дома и тоже с обещанием лучшей жизни. Только не поверят...

— Ну это же смешно, дед. «Где живешь, кулик?» — «На болоте». — «Иди к нам в поле!» — «Не пойду, там сухо».

— Старики-кулики для тебя смешны, потому что ты еще ничего и никого не терял. А может, и не любил... Только не любя малого — не полюбишь и большого. Почему рак криво ступает? Потому, что иначе не знает. От рождения иначе не умеет. Вот это и страшно: каков корень — таков и отпрыск. Подгнивают или подрезаются корни — и ноги в коленках подгибаются, душа разрушается. А с такими ногами и такой душой человек не справится ни со станком, ни с электростанцией, ни с самой жизнью. Перестает любить и людей, и землю. Отрекается от своей хаты, от своего села, от своей престарелой матери ради уюта и праздности. А после такого страшного отречения всего один шаг до предательства.

Помнишь крестообразную сосну, на которой фашисты партизан вешали? Только и распятые не отрекались они от родины, от имени своего, данного отцом и матерью. Разве могли они предположить, что их дети и внуки профукают и захоронят окупленную ценой жизни землю? На поле боя вырос город, на поле боя выросла атомная. Как оправдаемся, Генка?!

— Я понимаю, дед, твою боль. Но что же делать?

— Конечно, если за шкурой ума нет, так к шкуре не пришьешь... Но неужели, Генка, так и будем хоронить хаты, переселяться с одного клочка земли на другой?

— Не будем, дед! Многие страны уже отказались от строительства атомных...

— Отказались, говоришь, — перебил дед, — а бомбы начинают, как колбасы, впрок. Зачем? Тоже не помнят, что земля одна, воздух один. Разве возможна жизнь после атомной войны? Разве можно будет возродить мертвую землю? Зачем человеку руки? Чтобы работать на земле. А если вырвут руки из земли и испепелят землю, куда денут их, свои праздные ненужные руки?.. Хаты нет, земли нет, отчего края нет... А прозябать и без рук можно. Одним бы глазком взглянуть. В последний раз. Про-сгиться бы... За хатами, совсем рядом, и кладбище. Тоже, наверно, сравнивают с землей?..

— Так давай, дед, поедem! — вскочил Генка, осененный дерзкой мыслью. Ему хотелось броситься к старику, обнять, уткнуться в его жесткое израненное плечо, сжать в своих гладких руках узловатые дедовы. Но он боялся насмешки: старик не признавал телячьих восторгов.

— Что... Что ты сказал, Генка?

— Давай поедem!

— Дорогой ты мой! — задохнулся от волнения старик. — А и впрямь... Я ведь и сам об этом думал. Мы и спрашивать никого не будем. Я же старый разведчик — все кордоны минуем, все посты пройдем, из любой западни выберемся. — Он легко поднялся, только затрещали, как сухие сучья, измученные полиартритом ноги. — Потрещите, потрещите! На святое дело идем. — Лицо его побледнело, подрагивали чуткие ноздри. — Только бы взглянуть, в последний раз. Проститься. Может, и с жизнью... — Он положил тяжелые руки на плечи внука, придавил, словно проверяя на крепость, заглянул в глаза. Генка дрогнул: глаза деда, мутноватые, с красными прожилками и жестким, лихорадочно блестящим черным зрачком, казались глазами пророка, прощающегося с миром.

— Брось, дед, паниковать, — бодрясь, произнес Генка, — рано тебе с жизнью прощаться. Ты еще ей ой как нужен со своим умом. Когда поедem?

— Сейчас, Генка, сейчас!

— А что отцу с матерью скажем? Правду нельзя: мать умрет...

— А мы правду напишем: уехали к Тимофеичу в Мироновку на три дня. Они его знают. А на обратном пути мы и завернем к моему другу на часок-другой, он будет рад.

— На денек-другой.

— Как получится, Генка, как получится...

Они поспели вовремя... Рядом с дедовой хатой уже был вырыт котлован — огромная, наспех сработанная яма с неровными краями.

— Персональная могила — и на том спасибо, — крикнул дед.

Они сидели неподалеку, в зарослях кустарника, измученные дорогой и переживаниями. Руки деда скребли уже промерзшую землю. Сдерживаемое дыхание казалось еще тяжелей.

По дороге, тарахтя и пофыркивая, полз бульдозер.

— Вот и могильщик хат, — сказал старик, не отрывая глаз от машины. — Трудная у него работенка...

Бульдозерист, небритый, заросший трехдневной щетиной, казался угрюмым. Генка, глянув на деда, порадовался в душе: «Хорошо, что не ухарь, не весельчак... этот бульдозерист».

Бульдозер подъехал к хате. Остановился. Словно прислушиваясь, — даже стук мотора стал мягче, — нос уперся в фундамент. Он дрожал от натуги всем корпусом, но старая дедова хата стояла. Только жалобно-испуганно отзывались стекла.

— Я же говорил: крепки корни, — с гордостью взглянул старик на внука. — В землю выросла не фундаментом, а корнями.

Генке хотелось плакать. Нет, не столько дедову хату, сколько его самого было жаль юноше. Может быть, впервые понял он деда с его вечными, казавшимися смешными, разговорами о корнях. Из этой земли, в этой хате выросла и дедова душа — гордая, щедрая, милосердная и чуткая. Защищая от врага свою малую родину, защищал дед и свою душу. Он и сейчас спасает ее, а может быть, заодно и душу внука.

В эти трагические минуты прощания старик казался беспомощным. Но не обида дрожала на его сморщенных щеках, а великая скорбь. Как и подобает при прощании с близкими... Дед сострадал хате, как может сострадать только человек, проживший долгую и трудную жизнь мудрецом и простаком. Человек, для которого огромный дом, именуемый отечеством, не на словах, а на деле начинался с этой отеческой хаты. И было в этом немом сострадании больше патриотизма, чем даже в мудрых дедовых словах, сказанных накануне.

Бульдозер, словно осознав свою несостоятельность перед тайной глубинной связи старой хаты и земли, задрал нос повыше и ткнулся в стену. Обветшалые бревна затрещали — или это крякнула от внезапной боли дедова душа?

Отъехав на несколько метров назад, бульдозер с воинственно поднятым носом вновь ринулся вперед — на штурм, на таран. Удар был сильным, но глухим. Хата, затрещав по швам, стала медленно клониться на бок. Дед отвернулся. Его плечи вздрагивали. Генка давился слезами. Ему хотелось вскочить, броситься под нож бульдозера, прикрывая собой хату. Но старик, словно угадав мысли внука, глухо обронил:

— Сиди.

А хата все падала и падала... Казалось, этой медленной агонии не будет конца... Но стоило Генке на секунду прикрыть глаза, как рев бульдозера стих. Генка открыл глаза и вздрогнул: посреди груды бревен простирала в небо руку-трубу уцелевшая печь, бурая пылевая туча металась из стороны в сторону, разбрызгивая сажу и осколки штукатурки.

Бульдозер, зачихав, взревел и попятился.

Когда осела пыль, водитель вновь запустил мотор. Бульдозер лениво стал спихивать разрушенную постройку в яму, а потом, так же привычно-равнодушно, засыпать ее землей.

Вновь стих рев мотора. Бульдозерист грузно прыгнул на землю и воткнул в свежий холм жестяной знак.

— Все верно, — сказал дед, поднимаясь. — Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Афет власть имеет, а смерть всем владеет.

Исповедь плохого человека

Я человек плохой. Признаю и признаюсь... Нет, я не убью, не украду, не обругаю. Человек все же. И это нормально. Обыкновенно. Я по сути плох. Оттого и терплю все. И все стерплю, лишь бы не раздавили. С одного боку поглядеть: ни у кого нет права на мою жизнь. А с другого поглядеть: у меня самого меньше всего таких прав... От всего и всех завишу: от погоды, от звезд, от луны, от начальников, замов, бухгалтера, нормировщицы. Все на земле со всем связано. Чем — не знаю. И нельзя эту связь рвать насильственно. Вот отсюда и философия моя темная: раз родился на свет, плохой или хороший, должен положенное прожить. А как жизнь складывается — это уже другой вопрос...

После аварии такая поговорка возродилась: кому — война, кому — мать родна. По всяким причинам... Я себя тоже к тем отношу, для кого мать. В большей мере мать. Для меня лично. Не аварии я рад, а нескольким квадратным метрам под крышей. Месту рад в доме человеческом. А сердце у меня не из бетона, хоть и кидал бетон полжизни. Жалко людей. И птиц, и рыб. И зверя в лесу. И дерево на земле. И саму землю.

Вот я почти до пятидесяти дожил. И никогда до аварии не имел ни кола, ни двора. Даже имя у меня подходящее: Ни-кола-й.

Рос в семье, где семеро по лавкам.

Кто-то где-то музыке учился. С писателями запросто толковал. В театры хаживал. На юге отдыхал. А то и за бугор подавался для расширения кругозора. А моя дорога была от лопуха до лопуха. В латаных штанах. И с кличкой вместо имени.

Конечно, в школе *и* я учился. Только учителя мои и сами неученые были. Дальше книжки — не видели, больше — не знали. Не обо мне была их забота — о хлебе насущном. Книжки школьные я все перечитал. В них про все говорится и как бы ни о чем. Все в них врозь: народы и цари, войны и люди, земля и небо. Вещи, явления, люди — врозь. И получается рознь... Жизни не получается. Смысла ее не видно. Словно не про нас сказ. *И* нету ответов для человека. Одни загадки. Порой и умирает человек, не разгадав их.

Семеро нас через эти загадки прошло. Как-то выросли: один за одним. Как и родились. И уезжали кто куда. А вот где кто — не знаю. Нет того, что родственными чувствами называют. Мне заяц родней в лесу. Птица на ветке. Даже сама ветка. Скажете, такого не бывает. Бывает и будет... Вот знавал я в Припяти одного. Откуда он приехал и зачем — он, верно, и сам не знал. Приблудный. Ничего у него не было. Жил в Зимовищах у одинокой женщины. Несколько лет. Плохо ли, хорошо ли, а жил. И вот под поезд его пьяный дружок толкнул... Чего-то не поделили. А может, просто человеческого не хватило в этот момент. Милиция искала родственников — никто не откликнулся. Так и похоронили, не зная: откуда пришел человек и каким был. И никто не заметил, что его уже нет. Словно и не было такого на земле...

Вот и мы так — сами по себе. И многие так. Кто где.

Мать считала это нормой: вырос — иди в мир, зарабатывай себе кусок.

Был и отец. И тоже словно и не был. Пил он. Почти на улице жил. У всех на виду. А никто не замечал.

И он никого...

Судить их не могу. К жизни, как к самому серьезному делу, надо иметь способности. Они не имели. Да и откуда взяться?! Деревня глухая, народ темный. Без света жили. Я про человеческий свет. Хотя и электричества не было. Вот почему я все на электростанциях больше работал. Одна улица в деревне. Как

продолжение дома. Все про всех все знают: кто родился, а кто умер, кто смеялся, а кто плакал. Никаких секретов тебе. Простота... Которая порой хуже воровства. Привыкли люди друг к другу и ничего не стыдились. Себя не стыдились. Языки чесали — как же без этого. Для сохранения членораздельной речи.

Работать в деревне негде. И некому. Вот и поехал вон. Мотался по свету...

Сначала все удивлялся: широка страна... красоты вечной... земля щедра от богатств своих несметных. Для жизни земля. А жизни не получается: на людей пообнищала. Мелковатый народец порасплодился. Пьяный и злой. В этой мельтешне и большого человека не видно. Я и себя к этой мелочи причисляю. Заспорит, бывало, наш брат рабочий: всех, мол, кормим, все создаем, хоть и не шибко грамотны, не шибко культурны. И резолюцию принимает: заставить всех вкалывать руками, ликвидировать интеллигенцию как прослойку. Нечего прославлять. Люди-однодневки... Создавать-то создаем, да все в ущерб живому, человеческому. Трудно мне это объяснить. Увидишь цветы на лугу — и светлеет душа. Лося заприметишь в чаще — и сердце так хорошо дрогнет. А от людей-однодневок свету мало...

Наудивлялся вдоволь. Потом задумываться стал: отчего так плохо живем? Не по справедливости. Не по назначению своему. Вопреки человеку. Наперекор будто. Да, темен человек и мелок — трудно ему свое назначение понять, свою связь со всем земным. Вот и борется он не за жизнь, а с жизнью.

Слушал я разных людей. Были среди них и приметные. Ученые. Разумом не обиженные. Слов много, а смыслу грамм. Все вокруг да около смысла. Даром что жили много, а жизни не понимают. Человека не понимают. Властвовать хотят над природой. Над человеком. Вот и верил им, и не верил. Кто легко верит, легко и пропадает.

Одна охота у меня: смысл всему живому и неживому на земле узнать. Зачем дерево растет? Не для того же, чтобы срубили. Зачем птица поет? Чтоб услышали? И все... Почему не уследить, как почка рождает листочек? Отчего все на земле хранит тайну рождения себе подобного? Вот камень, а вот плод. Что выберет человек? Если только плод, — погибнет. Если только камень, — погибнет. Равнозначны они: и камень, и плод. Для жизни равнозначны.

Поделился я своей охотой с одним ученым человеком. Засмеялся он. Все на земле, говорит, для тебя создано, для человека. Вот как просто. А я иначе думаю. Перед жизнью и смертью все равны. Чем я лучше ворона или волка, раз живем мы на одной земле? Одним воздухом дышим. Это человек сам присвоил себе и ворона, и волка. И деревья, и реки. И всю землю. Себя над всем сущим возвысил. А по какому праву, по каким заслугам? Вот загадка так загадка. Отгадать бы всем миром — может, и изменилось бы все. По справедливости жить начали.

Приохотился я и к книжкам. Разные читал. По ночам даже» Много спать — мало жить: что проспано, то прожито. И опять сомнения одолевали. Вот пишет человек о муравье. Да со своей высоты пишет. А надо с муравьиной низины на муравья глядеть. Иначе правды не увидишь. Да что о муравье. О себе пишет наспех, с оглядкой. Сам себя стыдится, когда глаза вовнутрь. Вот и переходит на наружность. А наружность всей правды не скажет. Это я сам о себе знаю, что плох. А для других подходящий — тихий, никому жить не мешаю, ничего не требую. Или просто не интересен для других — человечешко, и все. Без роду, без племени. Даже без имени-отчества, раз и наружностью не вышел, и образованностью не взял, и культурой не отмечен. Верно. Мне место в жизни рождением было определено. Упущенное не каждому дано вернуть. И я знаю свое место по сути своей. На чужое не полезу. Только разве все на своих местах?

Вот газеты пишут про уголь и про нефть. Уголь на своем месте лежит. Нефть на своем. А человек-то уголек выгребает и выгребает. Тоннами и тоннами. И что получается? Было место рождения — стала пустота. Ее отбросами не заполнишь. Понимает ли это человек? Не думает он об этом. Однодневка. О плане думает. О славе. Ударником себя почитает, если опустошит лоно земное сверх плана, сверх меры. А

меры люди вообще не знают. Ни в чем. Опустошит ударом. Насилуем землю. А выходит, что и себя. Вот штука-то какая...

Ездил я специально на ударников-то поглядеть. Еще в молодости. С одним несколько дней толковали. В отпуске он был. Не толковались. Приговор вынес: вредный, мол, ты человек, мысли твои от дела отвлекают, религией попахивают. Нет, я не могу сказать, что я верующий. Но во что-то же я должен верить!

Повел меня на шахту. Что сказать, труд тяжелый... Бригада крепкая. Все ударники. Но это как личное клеймо, за которым лица-то и не видно. Работают люто. Лю-то! И темно в забое. Вот и в душах свету немного. На расстоянии глаз — один уголь. Все силы работе отдают. Работа для них тоже как религия. А на человеческое сил уже не остается. А разве смысл жизни из одной работы складывается? Жить, чтобы работать? Или работать, чтобы жить?

В Припяти тоже ударники были. Матом гнали людей за процентами. И награды получали. А кому рядом с ними лучше стало? Вот один бригадиром работал. Комсомольским. Понадобился передовик. Перетрясли бригады и этого выбрали. Где-то просто повезло. А он сразу и вознесся. Многое человеческое растерял, пока в президиумах сидел да выступал. О людях забыл, больше о себе помнил. И стал не людям служить, а тем, кто его дутую славу пестовал. Угодным стал. После аварии в профком сел интересы производства защищать. И преуспел. Уже готов для этого.

Или вот еще. Отвечал инженер ЧАЭС за технику безопасности, за радиационную безопасность. Случилась беда — все забыл, только о себе помнил. Спасая себя, обманул другого... Дескать, терпимая радиация, нет опасности для жизни. Погиб другой... Только спас ли себя? А был коммунистом. Правда, выгнали потом.

Мои руки тоже работы не боялись. И бригаде в тягость не был. А вот смысла своей работы так и не понял! Строил атомную, чтобы лучше жилось. А вышло опять вопреки, вопреки человеку. И не могло иначе: я о зарплате думал, о работе думал, а о жизни нет. О жизни всего живого не думал. Смотрел от стены до стены, от отметки до отметки. Был работником, а человеком был мало.

В ночь аварии пошел один начальник к другому чай пить. С одного блока на другой. Сидит и пьет. Ему звонят с четвертого: тут что-то неладное творится. Он обругал смену и трубку бросил. Спокойно чай допил и пошел. *И* шел, наверно, не спеша. Пришел — а блока нету... Работником был, а человеком? Смысл своей работы для жизни понимал?

Вот я и говорю: работать, чтобы жить. А жить — обо всем живом помнить. Каждая тварь рождена природой. И человек тоже. У каждой твари свое место. У рыбы — озеро, у волка — лес, у кулика — болото. А человек везде хочет быть. Все места занять, всех изгнать. И обязательно хозяином хочет быть. Высшим существом. Хочет властвовать над землею и небом. А разве он сильнее муравья или мудрее змеи? Разве строят муравьи свой муравейник хуже, глупее?

Вот и борется человек не за жизнь, а с жизнью. Вот и выходит все вопреки.

Два брата работали на атомной. Один, как и я, жил в общежитии, только женат был, двое детей. Бедновато жили.

Другой в трехкомнатной квартире. С одним ребенком. Все имел — на север несколько раз ездил.

После аварии первый получил десять тысяч компенсации и трехкомнатную квартиру. А второй — двух и восемь с половиной.

Были братья — стали враги. Разве их жизнь развела?

Вместо койко-места появилась квартира и у меня. И деньги завелись. И даже... женился. Конечно, рад. Как не радоваться-то?! Только лучше-то я не стал. И жить, как думаю, не умею. Способностей нет. Света от меня мало живому на земле, хоть и электростанции всю жизнь строил.

Психолог-псих

Зазвонил телефон. Встревоженный мужской голос... Человек представился и попросил о встрече.

И вот мы сидим напротив друг друга. Он — под два метра ростом, молодой, интеллигентный. Лицо бескровное, но живое. Чистый взгляд. Абсолютная логика. Четкая речь. *И* — волнение, растерянность, муки совести...

— Я поехал на Чернобыльскую АЭС по собственному желанию. По образованию я психолог, поэтому мой интерес и мое желание помочь людям вполне понятны. Тем более, что они нуждались и нуждаются в такой помощи.

...Чуть раньше я встречалась с врачом-психиатром, психотерапевтом Валерием Вячеславовичем Навойчиком. Он жил и работал в Припяти с августа 1975 года. После аварии целый год постоянно находился в тридцатикилометровой зоне — хорошо знает не только своих пациентов, но и общую психологическую ситуацию. Интерес вызывает факт, что в мае-июне В. Н. Навойчик работал в здравпункте административно-бытового корпуса ЧАЭС.

Готовность припятских врачей к экстремальной ситуации, их компетентность, знание особенностей лучевого воздействия на человеческий организм отмечали впоследствии и профпатологи Москвы, и доктор Р. Гейл.

Действительно, с первых часов аварии медперсонал медсанчасти № 126 мужественно и спокойно начал принимать пораженных. За двое суток через их руки прошло 250 человек. Правильно были проведены диагностика и сортировка, выбрана тактика ведения больных. Наиболее тяжелых отправляли в Киев и спецрейсами в Москву.

Одновременно на третьем и четвертом энергоблоках шла борьба с огнем, потом началось укрощение бесконтрольной стихии атома на разрушенном реакторе. Люди уже знали степень опасности, поэтому напряжение шло по возрастающей: и напряжение мужественной и самоотверженной борьбы с бедствием, и напряжение человеческих сил и возможностей.

Местом кратковременного отдыха участников ликвидации аварии стал бывший пионерлагерь «Сказочный». Здесь остались самые необходимые. Здесь не было паникеров.

Уже пятого мая сюда приехали психотерапевты и психиатры московского института имени Сербского. Их оценки психического состояния людей в период экстремальной ситуации соответствовали действительности: люди со знанием дела и пониманием выполняют свой гражданский и профессиональный долг (единицы погоды не делают...), в их душах нет паники.

«Было смятение, был страх. Но они не раздавили, не вызвали массовых психозов даже в самые напряженные месяцы — май и июнь, несмотря на тяжелейшие испытания на прочность и мощное лучевое воздействие в крайне сложной, многомерной психотравмирующей ситуации, — рассказывает В. Н. Навойчик. — Но эта ситуация действовала и в течение года... Тяжелые психические поломки были единичными, а вот невротические реакции не столь редки, как бы того хотелось чисто по-человечески.

Потрясали и контрасты. Накануне аварии: чистота, опрятность города, уже вывесившего флаги и транспаранты перед майскими праздниками, а утром: залитые дезраствором улицы и... дети, бегающие по лужам. Нарядные толпы в субботу и тихие, настороженные во время эвакуации — и вот уже безжизненный город. Машины скорой помощи везли пораженных, а женщины с детьми не отходили от больницы, переговариваясь с мужьями через открытые окна. *И* никакие силы, никакие разъяснения не давали

результатов. А после эвакуации эти люди осознавали свою беспечность, свое незнание, весь трагизм случившегося и, естественно, возникали стрессовые ситуации».

После эвакуации произошла переоценка ценностей. Все казалось безделицей по сравнению с происшедшим. И только к природе осталось прежнее отношение, хотя невозможно было постичь ее буйство, пышное цветение, кажущуюся нетронутость и... смертоносность.

«Не было громкого смеха, хотя не обходилось без шуток, без анекдотов на аварийную тему. Веселая музыка раздражала, казалась кощунством при существующем трагизме.

Конец апреля и первые дни мая — максимальное психическое напряжение, в котором было и ожидание еще более трагических последствий нового взрыва, если перекрытия не выдержат температурного воздействия неуправляемого реактора и все ЭТО рухнет в воду бассейна-барбатера. Порой казалось, что вот-вот наступит предел... Но уже десятого мая мы узнали о ликвидации опасности. Можно было перевести дух. — Валерий Вячеславович и во время рассказа переводит дух: картины прошлого четко запечатлелись в памяти и сердце, причем в красках и ритмах, с мельчайшими подробностями — и все болит по-прежнему... — Только человек с каменным сердцем мог сохранить его от боли и болезней после всего пережитого. Вот и болят наши сердца, тревожа и нас, врачей. Это теперь, спустя два года. А тогда...»

А тогда волновала судьба реактора, судьба станции, судьба города и земли. Даже о семьях вспоминали мимоходом, порой еще не зная, где они, главное, что в безопасности. С болью вслушивались в информационные сообщения, вчитывались в газетные строки, сопоставляя услышанное и прочитанное с истинным положением.

«Разница между информацией и реальностью, — продолжает рассказ В. Н. Навойчик, — принижение роли специалистов-припятчан, принимавших самое активное участие в ликвидации аварии и ее последствий, били в самую человеческую сердцевину, отнимали последние силы.

Тайком навещали свои квартиры — уютные, но пустые. И словно ждущие... Возвращались еще более подавленные.

Ранило все. Особенно противопоставление прошлого и настоящего, предположение будущего...

Бытовая неустроенность, чрезвычайная жара, высокие уровни радиации в зоне аварии, чрезмерные физические и психические нагрузки, неопределенность и даже одинаковая спецодежда надламывали дух людей, несмотря на внутреннюю установку выстоять, выдюжить. Все мною перечисленное и позволило людям назвать этот период «войной», а события до аварии «довоенными».

Мой хороший знакомый, инженер ЧАЭС, видя страдание своей больной собаки, сменившей место жительства вместе с хозяином, и понимая, что смертельный исход для нее неизбежен, обратился ко мне за медицинской помощью. Я удержал его от этого шага... И не мог сдержать слез, хотя людей было жалко неизмеримо сильнее. Мы все были в одном положении».

Прошло время. Обстановка в зоне нормализовалась. Люди получили квартиры и материальную компенсацию. Но чем компенсировать потери души?

«Интересное явление ностальгия, — вздыхает На-войчик. — Нас оно не только не обошло, но травмирует даже сильнее. Потому что мы знаем: совсем рядом наша земля, наш город, в зоне, за колючей проволокой, где амбарными замками закрыты двери наших уютных квартир. И сколько бы лет ни прошло, не заживут израненные души. И нельзя не попытаться хотя бы понять душу человека, пережившего Чернобыль».

Вернемся же теперь к моему гостю, тоже Валерию, психологу по образованию. И, надеюсь, не перепутаем его профессию с профессией врача-психиатра...

— Приехал я на ЧАЭС. Долго объяснял, что я не врач, что занимаюсь процессами и закономерностями психической деятельности. По-моему, меня так и не поняли. Недоумевали: зачем это надо? Но на работу взяли — в отдел техники безопасности. В отдел так в отдел. Тем более, что разрешили полностью заниматься своим делом. И я начал работать. Встречался с людьми, беседовал, вел записи, изучал ситуации. Моя активность, особенно записи, встревожили начальницу отдела по технике безопасности. Да, на таком отделе женщина, бывшая учительница припятской школы. Причем не имеющая права работать в зоне повышенного излучения из-за фибромы. Какими интересами она руководствовалась, добиваясь разрешения остаться в зоне, не знаю. Но, как видите, несмотря на запрет врачей, оставили. И даже начальником такого отдела, где спрос особый, где должен быть только специалист. Может быть, я отстал: педагогические знания необходимы для безопасности атомной?

Так вот, она запретила мне заниматься психологическими исследованиями. Чем мотивировала? Элементарным: занимайтесь техникой безопасности — вы именно за это получаете деньги. Я стал докапываться до причины запрета. Истинной. Вскоре понял: все работники станции регулярно проходят обследование у врачей-психиатров. Это закон. Есть соответствующий приказ. Любое нарушение психики может стать поводом для увольнения. Правильно, конечно. Но этого и бояться: кому-то нужна машина, кому-то гараж, кому-то пенсия, а кому-то просто нравится получать неплохие деньги. Льгот для работников атомной достаточно. И вполне заслуженно. Другое дело, что большая их часть по-прежнему распределяется между припятчанами-руководителями и их верными слугами. Почему эти люди, ответственные за аварию, до сих пор учат людей безнравственности?

Выполнять запрет я, естественно, не собирался. Даже не подумал. И зря... Недооценивать круговую поруку нельзя. Но меня увлекала моя работа: интерес вызывал не только оперативный персонал, но и технический, ремонтный, руководящий. Мне снова дали попять: не зная броду... Какой брод, когда психологами совсем еще не изучены организация производственных отношений, взаимодействие человека с автоматикой. И еще куча всего... А у меня есть разработки, программы. И даже мечта: психологические лаборатории на всех АЭС, на Чернобыльской — крупнейшие всесторонние исследования!

И тогда меня объявили... психом. Ладно, слухи, подозрительность, проработки и даже собрание коллектива. Послали на медкомиссию, предупредив врачей заранее, что я того... Я обратился с протестом к прокурору. Но разве чужак может что-то там доказать?! Ответа от прокурора так и не дождался. Вопрос встал ребром: или я псих, или увольняюсь здоровым по собственному желанию. Я выбрал второе. И вот мучает совесть...

Должностная болезнь

29 июля 1987 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Союза ССР под председательством члена Верховного суда СССР Р. К. Бризе с участием государственного обвинителя — старшего помощника Генерального прокурора СССР Ю. Н. Шадрина завершила в Чернобыле рассмотрение уголовного дела бывших руководителей Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Начальник АЭС В. Брюханов, главный инженер станции Н. Фомин, заместитель главного инженера А. Дятлов сурово наказаны. Осуждены к разным срокам лишения свободы еще два бывших работника 4-го энергоблока, а также инспектор Госатом-энергонадзора СССР. Серьезным уроком, строгим предупреждением против расхлябанности, недисциплинированности, безответственного отношения к выполнению служебных обязанностей прозвучал приговор виновникам аварии. Отсутствие взаимной требовательности, беспринципность привели к тому, что среди руководителей АЭС и части специалистов сложилась атмосфера вседозволенности, благодушия и беспечности. Все это способствовало возникновению аварийной ситуации, обусловило неумелые, нерешительные действия персонала в экстремальных условиях. (Из сообщения ТАСС)

Приняв решение о проведении испытаний на четвертом энергоблоке перед выводом его в плановый ремонт, Брюханов, Фомин и Дятлов не согласовали проведение этих работ в установленном порядке, не проанализировали все обстоятельства предстоящего эксперимента, не приняли необходимых дополнительных мер по обеспечению безопасности.

(Из приговора суда)

Вновь и вновь вчитываюсь в строки приговора — возвращаю прошлое в сегодняшний день, пытаюсь осмыслить причины трагедии Чернобыля. Должностные лица, отвечающие за надежную эксплуатацию атомных электростанций, отделались легким испугом... Должностные лица, не справившиеся со своими обязанностями на Чернобыльской АЭС, наказаны. Их считанные единицы — вина многолика. Но даже не это главное. Наказан ли порок? Вырваны ли его корни? И, наконец, найдено ли средство против возбудителей должностной болезни, долгое время находивших у нас благодатную почву для разрушения здоровья общества?..

Должностная болезнь — не досужий вымысел, не образное выражение, а самая что ни на есть зараза, распространяющаяся не одно столетие: реальное существование служебной лестницы во все времена предполагало и ноги, которые будут по ней подниматься. Должностное продвижение получило и другое название: служебная карьера! Добившись чина, человек практически больше не нуждается ни в каких положительных качествах — они предполагались как само собой разумеющееся. Отсюда не человеко-, а — чиновпочитание.

Маленький чиновник исповедовал стиль руководства большого чиновника, жил не видением, а «слепой» верою: подперто — не валится, пришиблено — не пищит. И получал вознаграждение не за труд, а за службу, за эту веру. Но, как известно, чего глазом не досмотришь, то мощною доплатишь. И доплачивали — из чужого кармана.

Кто же легче всего преодолевал ступеньки служебных лестниц? «В России нет выборного правления, а правят не только одни богатые и знатные, но самые худшие из них. Правят те, кто лучше наушничает..., кто искуснее подставляет ножку, кто лжет и клеветает... льстит и заискивает», — писал В. И. Ленин в 1903 году.

Почему чиновник чаще всего был недостижим? Потому, что окружал себя поручкой, а свою деятельность тайной, придавая этим вес собственной персоне и значительность незначительности того, что делал. «Правят тайком, народ не знает и не может знать, какие законы готовятся, какие войны собираются вести, какие новые налоги вводятся, каких чиновников и за что награждают, каких смещают», — продолжает Ленин свою мысль в той же статье «К деревенской бедноте».

После революции, выдвинувшей в первые ряды людей иного качества, в короткий срок произошли такие грандиозные изменения, что в социализм, реальный социализм, и коллективное руководство поверили не только массы и сомневающиеся, но и враги. Однако и после формирования нового аппарата правления беспокойство Ильича не исчезло: «...улучшить наш аппарат, который из рук вон плох. Он у нас, в сущности, унаследован от старого режима, ибо переделать его в такой короткий срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было совершенно невозможно...»

Не разноречивость точек зрения и даже убеждений волновала Ленина — состоятельность, дееспособность, образованность каждого. И еще: «...необходима именно культура... ничего нельзя поделывать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще».

Для обновления госаппарата вождь ставил триединую задачу: учиться, учиться, учиться, чтобы «наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой... чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом». Шел 1923 год. Ильич работал над политическим завещанием: «...нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно: передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, — не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной цели».

Все сказанное (а это лишь малая часть) относится к ленинской кадровой политике. Это программа, призванная покончить с должностной болезнью, служебными лестницами и чиновничеством.

Знал Ильич и трудности реализации программы человекопочитания: «...сопротивление нужно будет оказать гигантское... настойчивость нужно будет проявить дьявольскую... работа здесь... будет чертовски неблагодарной; и тем не менее я убежден, что только такой работой мы сможем добиться своей цели, и, только добившись этой цели, мы создадим республику, действительно достойную названия советской, социалистической и пр., и пр., и т. п.»...После смерти Ленина правление государством фактически перешло в руки Сталина. Административно-приказная система управления после национализации частной собственности обнаружила, что получила невиданную дотоле возможность распоряжаться практически всеми средствами производства. Упустить такую возможность при еще не отработанных экономических механизмах и демократических методах — значило погибнуть: передать свои функции народовластию. Поддерживая и защищая власть Сталина, бюрократия защищала себя, свою власть, свое благополучие. Укрепляя аппарат насильственного управления государством, Сталин укреплял свое право на единоначалие. Определяя качество госаппарата, бюрократия безболезненно подменяла экономические интересы народа идеологическими догмами, при которых основой личности становилась политическая позиция. Это в корне противоречило марксизму: человек — продукт общественного, социального развития. Так зарождался Чернобыль (получивший свое логическое завершение в годы застоя) — экономический, социальный, духовный...

Оперируя сегодня такими понятиями, как культ и застой, отделяя одно от другого, мы в то же время ясно осознаем, что это не столько причина и следствие, сколько единство противоположностей. Отсюда и похожесть двух периодов при всем кажущемся их различии: укрепление бюрократического аппарата,

отсутствие гласности и демократии, попрание справедливости и злоупотребление властью, процветание лжи, догматизма, разрушение личности.

Все, с небольшими косметическими изменениями, возвращалось на круги своя: маленький чиновник исповедовал стиль большого чиновника, защищая не идеалы социализма, а интересы собственного благополучия, неизбежно обрекая общество на чернобыли.

Да, сегодня нам нужны не просто начальники всех рангов и мастей — нам нужны лидеры ленинской закалки и выучки. Нужны не культы, иконы, идолы, а живые личности. И все одной масти — по сути. И все одного ранга — граждане социалистического Отечества. Не место красит человека, а человек место. Этой пословице нужно вернуть справедливость на деле, чтобы процессы перестройки стали необратимыми. Наступило время, когда можно и жизненно необходимо учиться коммунизму, — безграмотность народа — это и его бессилие перед чернобылем, культом, застоём.

...За два с небольшим месяца до аварии директору Чернобыльской атомной электростанции исполнилось пятьдесят лет. Партком с помощью редактора радиовещания ЧАЭС подготовил для местной газеты статью «Ответственность»: «...Старожилы города и ветераны предприятия помнят, как морозным февральским днем 1970 года был забит первый колышек на месте будущего гиганта атомной энергетики. С тех пор каждый день и каждый час его жизни были прочно связаны с ведением строительства и пуском всех действующих блоков...»

Физический пуск первого блока состоялся в августе 1977 года. Впервые загрузка реактора и основные эксперименты по пусковой программе были выполнены на двадцать пять суток раньше предполагаемого срока. Двадцать второго января 1978 года от Л. И. Брежнева была получена поздравительная телеграмма. Указом Президиума Верховного Совета СССР и Украинской ССР четырнадцать работников станции были награждены высокими правительственными наградами. В 1979 году был пущен второй блок, номинальная мощность которого освоена за пять месяцев (первого блока — за восемь месяцев). Получена поздравительная телеграмма от Президента Академии наук СССР А. П. Александрова «с освоением номинальной мощности II блока в рекордно короткие сроки». За досрочное освоение первой очереди ЧАЭС двадцать шесть работников были отмечены правительственными наградами. В 1980 году «ЧАЭС выполнила директивное задание десятой пятилетки по выработке 32,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии 13 декабря, а 17 декабря важный пункт повышенных социалистических обязательств по выработке 13 миллиардов 550 миллионов киловатт-часов электроэнергии в честь XXVI съезда КПСС».

I и II очереди включают два энергоблока электрической мощностью 1000 мВт и тепловой — 3200 мВт каждый, с отдельными помещениями для реакторов, вспомогательного оборудования, систем транспортировки топлива и пультов управления реакторами, с общим машинным залом и помещением для газоочистки и системы подготовки воды. Все оборудование изготовлено на отечественных заводах: генераторы — в Ленинграде, реакторы — на Ижорском заводе, турбины — в Харькове. «Достоинством канальных реакторов (РБМК) является возможность перегрузки топлива при работе без снижения уровня мощности».

...После сооружения в 1954 году первой в мире атомной электростанции в Обнинске началось создание опытно-промышленных энергоблоков: с водо-водяными реакторами (ВВЭР) на Нововоронежской АЭС и урано-графитовыми (РБМК) на Белоярской атомной электростанции. Эти два типа реакторных установок имеют существенные технические отличия. Страны СЭВ отдали предпочтение первому виду, причем преимущественно ВВЭР-440, так как опыт эксплуатации энергоблоков 440 мВт свидетельствует, что практически все основное и вспомогательное оборудование имеет проектную характеристику эксплуатации, в проектных пределах находится и надежность оборудования (Козлодуй в Болгарии, Пакш в Венгрии, Норд в ГДР, В-1 в Чехословакии). В каждой из соцстран практически по одной атомной, если не

считать маломощную АЭС Рейнсберг в ГДР. После аварии на Чернобыльской АЭС СФРЮ объявила мораторий на строительство атомных электростанций до 2000 года (единственная электростанция — атомная — Кршко введена в эксплуатацию в 1981 году).

Мы стали использовать оба вида реакторных установок: ВВЭР — Кольская, Армянская, Ровенская, Южно-Украинская АЭС, РБМК — Ленинградская, Смоленская, Чернобыльская, Курская АЭС.

Рассказывает начальник группы рабочего проектирования ЧАЭС института «Гидропроект» имени С. Я. Жука Владимир Иванович Фаустов: «Конечно, в целом проект станции еще не отшлифован, имеют место недоработки, коллизии и т. д. Институт и ГРП проводят большую работу по улучшению качества документации и, если проанализировать динамику выпуска дополнительных чертежей, вызванных недоработками проекта, то увидим следующую картину: на третьем энергоблоке было выдано 1600 штампов чертежей, что потребовало дополнительного расходования почти 750 тысяч рублей строительно-монтажных работ. На четвертый энергоблок — 650 штампов и соответственно 400 тысяч рублей. Хочется надеяться, что общее количество таких чертежей по пятому блоку не превысит 400–500 штампов».

Для изготовления корпусов реакторов водо-водяного типа нужна специализированная машиностроительная база. Оборудование для реакторов уранографитового типа можно было готовить на уже имеющихся заводах. Поэтому энергетические мощности в десятой пятилетке росли в основном за счет энергоблоков с водо-графитовыми реакторами. Но предполагалось, что после строительства «Атом-маша» (предполагаемая проектная мощность 6–7 блоков в год) основными станут блоки с реакторами водо-водяного типа. Параллельно же можно продолжать работу над совершенствованием технико-экономических показателей РБМК, повышением их надежности. А так как желание иметь много побеждало желание думать, то основное совершенствование касалось в первую очередь роста единичной мощности энергоблоков любого типа (ВВЭР — 1000, РБМК — 1000), затем роста общей мощности каждой АЭС и, как результат, — рост суммарной мощности всех атомных электростанций страны.

Гигантомания не обошла и Чернобыльскую АЭС: еще только начиналось строительство пятого блока, а кабинетных мечтателей уже не удовлетворяли шесть блоков-миллионников на одном берегу Припяти, — фантазия перенесла их на другой берег, где должна вырасти ЧАЭС-2... А маленькие чиновники начинали гадания: кто займет кресла администрации новой атомной? Но вернемся к юбилейной дате директора и статье о нем: «Прожитые им годы могут послужить каждому ярким примером беззаветного служения... Он внес большой вклад в обеспечение надежности и безаварийной работы...»

В 1984 году был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок. Директор ЧАЭС, выступая на митинге, сказал: «С пуском третьего блока в 1981 году мощность нашей атомной достигла трех миллионов киловатт, в то время как мощность всех атомных станций стран членов СЭВ составляла чуть более четырех миллионов киловатт. Нормативная продолжительность строительства третьего блока — 72 месяца, то есть по сравнению с первым блоком уменьшилась на 20 месяцев. Энергоблок строился по унифицированному проекту, в котором учтены современные требования безопасности АЭС. И вот новая победа — четвертый энергоблок, практически во всем повторяющий своего предшественника...»

Сегодня там, где был четвертый энергоблок, — саркофаг, или объект «Укрытие», — комплекс защитных сооружений поврежденного реактора. Уложено около 300 тысяч кубометров бетона, смонтировано свыше 6 тысяч металлоконструкций. Для сравнения: при сооружении третьего блока уложено свыше 192 тысяч кубометров бетона и железобетона, смонтировано более 17 тысяч строительных конструкций и более 110 тысяч кубометров сборного железобетона — освоено почти 360 миллионов рублей. Около 400 миллионов рублей и сметная стоимость четвертого энергоблока. И никакими миллионами не оценишь человеческие потери...

Но урок не пошел впрок: и «Укрытие» поспешили назвать победой, и победный флаг повесили. «Укрытие»... Даже самым названием вновь посмеялись над нами: все забыто — шито-крыто, работают три блока, «будущее — за чистым производством — атомной энергетикой: крупные промышленно-городские агломерации катастрофически загрязняют атмосферный воздух окислами серы, азота, углерода, летучей золой; на электростанциях, работающих на угле, серьезная проблема: где хранить шлак и золу, так как производство каждого киловатт-часа сопровождается получением ста с лишним граммов шлака и золы; атомные электростанции воздуха не загрязняют и помогут улучшить условия защиты окружающей среды крупных населенных районов». И лозунг повесили: «70-летию Октября — надежную безаварийную работу!» И девиз усвоили: кадры решают все! Только, помнится, и раньше писали про кадры. Вот, например, отрывок из статьи директора Чернобыльской АЭС «Кадровая политика на ЧАЭС»: «Оценка работы любого руководителя коллектива или общественной организации определяется прежде всего тем, как поставлена организаторская и воспитательная работа с людьми, как организован их труд на рабочем месте. В этом направлении нами уже в течение ряда лет ведется постоянная, кропотливая работа, что, конечно, дает свои положительные результаты...

В работе с кадрами постоянно опираемся на партийные, профсоюзные и комсомольские организации и на ряд других общественных советов: общественные советы профилактики правонарушений, советы мастеров, советы бригадиров, общественный отдел кадров, общественная юридическая консультация, советы наставников, кадровая комиссия при партийном комитете, совет ветеранов войны и труда, совет молодых специалистов». В этих двух абзацах — вся та кипучая административно-бюрократическая деятельность, которая и приводит к чернобылям. И ничего не изменится, пока «главными воспитателями» были и остаются люди некомпетентные, без чести и совести. Вот лишь один пример. За злоупотребления служебным положением был переведен из исполкома на ЧАЭС — из заместителей председателя исполкома в заместители директора станции по кадрам — «воспитатель масс», смело клеймивший после аварии ее виновников — из числа подчиненных, спеша спрятать в «Укрытие» и свою несостоятельность. Впрочем, он ли один?

На имя Генерального прокурора СССР (теперь уже бывшего) пришло письмо такого содержания. «...Пишет вам лейтенант срочной службы Гангнус Петр Александрович, прикомандированный к чернобыльскому управлению строительства 605 с 6 июля 1986 года.

Моя гражданская специальность — инженер-астроном-геодезист. Последние два года (сразу же после окончания института) я занимался в ЦНИИГАиКе (Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии) — в лаборатории космической геодезии. Помимо этого преподавал вычислительную технику в своем бывшем институте — МИИГАиКе — и учился на механико-математическом факультете МГУ.

Как специалист, я был абсолютно не нужен в Чернобыле. Меня переквалифицировали в дозиметриста: дали табличку на грудь «лейтенант-инженер дозиметрического контроля» и пообещали научить, как работать — в процессе самой работы.

Итак, 12 июля я вышел на работу на ЧАЭС.

Инструктаж по технике безопасности со мною проведен не был».

Здесь хочу прервать письмо, чтобы познакомить читателей с несколькими фактами. Передо мною две газеты: «Советская культура» от 15 мая 1986 года и «Трибуна энергетика» от 22 сентября 1987 года. Первая, уже пожелтевшая, хранит документ: выступление М. С. Горбачева по советскому телевидению. «Благодаря принятым эффективным мерам сегодня можно сказать — худшее позади. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. Конечно, под случившимся рано подводить черту. Нельзя успокаиваться. Впереди еще большая, продолжительная работа. Уровень радиации в зоне станции и на

непосредственно прилегающей к ней территории сейчас еще остается опасным для здоровья людей». И далее: «Совершенно ясно: вся эта работа займет немало времени, потребует немалых сил. Она должна проводиться планомерно, тщательно и организованно. Надо привести эту землю в состояние, абсолютно безопасное для здоровья и нормальной жизни людей».

Вторая газета и через год рассказывает о привычном: «Особенно эффективны «Дни техники безопасности и культуры производства» на промпло-щадке III энергоблока АЭС, там, где сконцентрированы большие силы строительных подразделений. Помимо радиационной безопасности на «горячем» объекте максимум внимания сотрудники отдела техники безопасности уделяют и выполнению строителями правил техники безопасности, культуре производства, что, в свою очередь, во многом способствует безопасности ведения работ». И далее: «...имело место повреждение изоляции трубопроводов рабочими, вызывала тревогу захламленность территории, неправильное хранение лакокрасочных материалов... неисправность сварочных аппаратов, токоведущие их части были открыты... рабочие здесь работали без защитных касок... отсутствовали средства пожаротушения... Многие трудились на объекте, не имея удостоверения на право работ с кранами... рабочие не имеют доступа к работам на высоте».

Нет порядка, нет спокойствия и на самой атомной станции. Продолжаются аварийные остановки реакторов и пожары, последний, принесший десятки миллионов рублей убытков, произошел летом 1988 года.

А теперь вновь вернемся к письму лейтенанта Гангнуса.

«10 дней все офицеры-годичники жили в Чернобыле. Первое время ходили без респираторов. Нам их не выдавали. Респиратор выдали только 11 июля. Накопителей сначала тоже не было. Таким образом, некоторая начальная доза оказалась неучтенной.

Мне накопитель выдали 11 июля. С этой даты до 22 июля набежало 7 рентген. С 22 июля по 11 августа набралось 15,4 рентгена. Я работал районным дозиметристом в шестом районе — самом близком к четвертому блоку. 11 августа мне выдали новый накопитель, и пришлось дальнейшую дозу учитывать только по дозиметрам-«карандашам». Когда доза по «карандашу» набралась 7,28 рентгена, меня вывели со станции. Я полагал свою суммарную дозу равной 27,28 рентгена (учитывая, что по второму накопителю в район была сообщена ошибочная доза: 13 рентген вместо 15,4). Однако меня никто не выводил из тридцатикилометровой зоны. И еще 35 дней я работал в Чернобыле бытовым дозиметристом.

В бытность мою районным дозиметристом, пришлось сталкиваться с удивительной беспечностью. Люди курили, снимали респираторы, отправляли естественные потребности в опасной зоне, работали без рукавиц. Впрочем, рукавиц часто не было. Их не выдавали. Иногда не было даже респираторов. Ни одному работнику района не выдали очки. Начальник дозконтроля Лызов сказал, что пыли в районе нет. Наверное, из кабинета видней. А у меня на руках бывали радиационные ожоги. Иногда проверить загрязненность спецодежды было невозможно — прибор (ДРБ) зашкаливало на всех поддиапазонах. И эти данные есть в журнале. После работы порой нельзя было помыться — из крана шел кипяток (как в доме, где мы жили, так и в санпропускнике).

В качестве бытового дозиметриста я увидел следующее. Существовали целые организации (Укр-спецстальконструкция, Спецмонтажмеханизация), более месяца работающие на станции и не знающие о существовании санпропускников. Более месяца они ходили в безумно грязных спецовках. Руководство первого и второго районов систематически везли людей с работы мимо санпропускников. В санпропускниках никто не имел своих шкафчиков. На шкафчиках не было замков. Процветало воровство. Не вытирали пыль (радиоактивную!). Люди в одежде (из районов, расположенных вокруг четвертого блока) ходили через душевые, даже не снимая ботинок.

На складах было сколько угодно респираторов, но не на станции. Две трети спецодежды, принимаемой управлением строительства 605 от поставщиков, имели размеры 56 и более. Спецодежды с клапанами не было вовсе. Одежду в санпропускники возили в открытой машине — и чистая одежда уже в дороге становилась грязной. Мне не раз давали настолько грязную одежду, что в ней даже в район идти было нельзя. Нормы на загрязненность одежды устанавливались не из медицинских соображений, а исходя из количества одежды, перевозимой в санпропускники. Между тем «лишними» перевозками себя никто не утруждал. Бывало, нормы менялись каждый день!

Все слова, все протесты оставались словами. Таким образом, было непонятно, зачем нужна моя работа. По идее, она заключалась именно в контроле. Но начальство не хотело, чтобы его контролировали. Дозконтроль не имел прав.

Начиная с 10 сентября я не делал на работе ничего. Точнее, за семь дней подписал около двадцати формальных бумажек. Работа на минуту! (А до армии я в двух местах работал и в двух учился. Имея «красный» диплом. И таким образом, видимо, значительно больше приносил пользы нашему государству). Мне кажется, что такое «использование» специалистов не способствует ускорению развития экономики.

Пока я работал в этом районе, получая за безделье в день по сорок рублей, корреспондент «Известий» товарищ Пральников заинтересовался вопросом: почему человека, получившего более 25 рентген, держат в тридцатикилометровой зоне? Как перепугалось местное начальство! Не за здоровье работника, перебравшего официальный максимум, а за собственное благополучие. Меня вызвали в первый отдел и «пожурили» за то, что я не разобрался «в кругу своих братишек». Начальство подстраховалось: ради успокоения вышестоящих инстанций, меня вывели за тридцатикилометровую зону. Это раз. Во-вторых, пользуясь моим отсутствием, начали собирать «доказательства» того, что у меня нет 25 рентген. И, в-третьих, в первый день моего дежурства на новом посту в Голубых Озерах (тоже бытовое дозиметрическое безделье) на меня напали четверо неизвестных солдат и избили меня до сотрясения мозга. Это было 21 сентября 1986 года. Первый отдел отказался рассматривать это дело, хотя я предъявлял медицинский акт.

Пока я лежал в медсанчасти № 126, мое начальство не теряло времени зря. Меня упрекнули в следующем: что дозы по «карандашу» я проставлял себе сам (но я должен был проставлять дозы всему району, в том числе и себе); что я хотел поскорее прекратить работу в зоне (когда я приехал, то сам просил поставить меня на работу в шестой район, хотя мог сразу устроиться бытовиком...); что радиация в районе не позволяла набрать столько рентген.

На самом деле можно было набрать и в сто раз больше. Я знаю физику. Но опыта у меня в дозиметрической работе нет... Там, где надо убегать, приходилось стоять. А работать приходилось в зонах с очень высокими уровнями (20 метров до реактора), которые фиксировались в журнале. Не моя вина в том, что первая смена не подготавливала данные для трех других смен и приходилось делать лишнюю разведку.

Но все эти упреки сделаны для того, чтобы представить меня недобросовестным и бесчестным человеком. А основной аргумент вот: оказывается, номер моего второго накопителя был записан один, а я сдал накопитель с другим номером. Я не расписывался за накопитель. И сдал тот, что мне выдали».

Еще раз прерву письмо, чтобы ознакомить вас с копией одного свидетельства (оригинал у лейтенанта Гангнуса): «Начальнику отдела ДК т. Гаевому В. К. от Косолапова Александра Михайловича.

В июле месяце я работал в группе индивидуального дозиметрического контроля. 25 июля я принял у тов. Гангнуса П. А. накопитель для проверки. Взамен сданного накопителя ему был выдан новый накопитель, номер которого по моей вине оказался не записан в карточку учета облучения.

Считаю, что это обстоятельство имеет важное значение для правильного определения суммарной дозы Гангнуса П. А., т. е. следует учесть показания этого накопителя.

10 сентября 1986 г. Подпись».

Напомню, что этот накопитель и зафиксировал дозу в 15,4 рентгена.

«Налицо обычная бюрократическая трусость людей, готовых ради собственного спокойствия на все. Дабы дозконтроль не обвиняли в плохой работе, занижают дозы. Дозы, измеренные «карандашами», считаются завышенными — их делят на полтора. Однако моя практика показала, что доза по «карандашам» бывает равна или даже меньше истинной, так что ни о каких систематических завышениях и речи быть не может. Но, тем не менее, если человек с тридцатью рентгенами по «карандашу» теряет накопитель или его крадут во время мытья (как сувенир), ему пишут справку на 20 рентген (как записали мне).

Мне кажется, что почти правильные показания «карандашей» в шестом районе объяснить очень просто. «Карандаши» по очередной странной директиве носили только во время работы. После работы мы все, сняв накопители, проходили мимо кучи мусора, которая лежала в нашем районе все время моей там работы. Куча была чрезвычайно опасна. Тем не менее, несмотря на мои неоднократные письменные требования, она продолжала существовать. Далее мы шли по коридорам ЧАЭС, опасным в радиационном отношении. И, помывшись в санпропускнике, весьма грязном, ждали автобус в таком месте, в каком и работали бы с оглядкой на часы. Так что коэффициент 1,5 вполне компенсировался.

Но кто скомпенсирует рабочим дозу, полученную зря? Может, не хватало людей на уборку? Неправда! Иногда более полусотни человек только в нашем районе целую смену сидели без дела и ловили рентгены. После завершения этапа работ по созданию саркофага в конце сентября — начале октября ради придания изящества строению стену штукатурили! А уровень радиации у стенки был весьма высок. Заставляли рабочих и солдат руками убирать радиоактивные куски графита (это показывали даже по телевизору), а можно было пользоваться обычными граблями и лопатами.

На том же техническом уровне ведется работа в индивидуальном дозконтроле. Весь учет, все подсчеты ведутся вручную, я предложил свои услуги по составлению базы данных на машине «Электроника», она стоит без дела. Начальник дозконтроля товарищ Мишин предпочитает ручную работу специалистов с высшим образованием. Единственное, для чего использовали машину, — составили таблицу деления на полтора. То есть машина за три месяца работала один час.

Я бы очень просил вас задать руководству управления строительством 605 следующие вопросы.

Почему соблюдение радиационной безопасности возлагается на некомпетентных людей? Почему их компетентность не проверяется? Почему людям запрещено знать свои дозы? А сотрудникам дозконтроля их говорить? Почему держат в штате ненужных людей? Почему верхушка УС-605, редко бывая на станции, получает деньги по наивысшему коэффициенту?..»

* * *

Вернулся с заседания суда в Чернобыле писатель Александр Левада и говорит: «Пока не видел их лиц, негодовал, может быть, даже ненавидел. А тут — жалкие люди... Кто они: преступники, жертвы? Наверное, и то и другое. Но они были по другую сторону от нас в прошлом — и оказались мы по другую сторону от них в настоящем».

По другую сторону... Как точно и верно, как горько и стыдно. И не открестись: чиновнику чиновниково. И не возникает вопроса: за что судим. Вопрос в другом: осудим ли наконец бюрократизм,

фельдфебельство, некомпетентность, «авось» и «как-нибудь», гигантоманию и забвение маленькой человеческой жизни в угоду рапорту, лозунгу, фанфарам.

«До слез обидно за свою судьбу, — скажет после аварии строитель Федор Дмитриевич Асеев. — Словно второй раз войну пережил. Землю жалко!»

Только в судьбе ли дело и судьба ли Чернобыль? А вот землю — живую землю — действительно жалко. Любые блестящие фразы о будущем должны наполняться реальным сегодняшним содержанием, а и самый высокий ум — здравым смыслом: житница — для жита, для жизни; атом — для мирных целей с учетом целесообразности и человеческой жизни.

Наращивая мощности атомных электростанций, планировалось за одно пятилетие увеличить производство электроэнергии до 225 миллиардов киловатт-часов, что станет соизмеримо с долей гидроэнергетики. Вместе с тем «энергоемкость нашего национального дохода почти в полтора раза выше, чем в большинстве западных стран, а внедрение передовой энергосберегающей технологии дает тот же эффект, но только в три-четыре раза дешевле, чем бурение новых нефтяных скважин». Так хватает нам или все же не хватает электроэнергии? И что кроется за этими фактами, например, только на Украине? Чернобыльская, Ровенская, Южно-Украинская, Запорожская, Хмельницкая, Крымская атомные электростанции, а также Одесская атомная теплоэлектроцентраль на 603,7 тысячи квадратных метров территории республики. А посевные площади сокращаются — сегодня их 33 миллиона гектаров. Подчиняясь чувству, начинаю считать курорты и здравницы — их не хватает действительно, потому что число больных неуклонно возрастает. Пробегаю глазами по карте, по Черноморскому побережью Крыма... Крымская атомная, Южно-Украинская... Говорят, что легко быть умным задним числом. Так почему же и в самом деле не поумнеть хотя бы здесь, в Крыму?! Тем более, что мы уже убедились на горьком опыте: надежность атомных станций — не только экономический, но и политический вопрос. Может, прежде чем решать вопрос о сооружении новых, провести ревизию уже действующих — есть над чем подумать, есть что доделать. И всерьез заняться кадрами. Не можем отказаться от единоначалия — можем сочетать его с демократией по-ленински: «...масса должна иметь право выбирать себе ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их, масса должна иметь право знать и проверять каждый самый малый шаг их деятельности».

Чернобыль — наше поражение, наша беда. И кошунственно снимать с этой беды копии, потому что, говоря словами Ленина, если оригинал исторического события представляет из себя трагедию, то копия с него является лишь фарсом.

От радиофобии к радиофилии

Вам не часто приходится общаться с людьми, над которыми взрываются атомные реакторы. Я, Сергей Грабовский (фамилия и имя подлинные), один из того немногочисленного оперативного персонала смены № 5 четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, оставшегося в живых. Да, тот самый обезличенный губаревский оператор, которому *авария* вменяется... до сих пор и напоминает, косвенно и прямо, всеми сведущими людьми: журналистами, продавцами, колхозниками, медработниками, уборщицами, то есть народом. И мы носим на себе это пятно. А куда денешься? И долго еще будем носить, пока люди не поймут, что ЭТА вина — вина пассажиров автобуса, обвиненных в автомобильной аварии.

И вот, несмотря на это, я чувствую за собой право — и даже обязанность — говорить от лица тех нескольких тысяч «старых» работников ЧАЭС, которые несколько оторвались от общего движения вперед и никак не могут настроиться... в ногу с руководителями: чего-то просят, куда-то пишут, говорят о какой-то соцсправедливости, не очень соглашаются ехать в город XXI века Славутич. Разбаловались на пяти окладах — упорствуют, видите ли: подавай им постоянную прописку в Киеве.

Откуда это упорство?

Постараюсь на своем примере показать хотя бы кусочек надводной части айсберга «чернобыльских» моральных и социальных проблем, айсберга, который никак не может попасть в теплое течение...

После аварии многие (кто раньше, кто позже) разделили участь пациентов различных клиник страны. В эту должность 27 апреля 1986 года вступил и я. Отбыв срок госпитализации (стремлюсь выражаться точно, называть вещи своими именами, поэтому не употребляю выражения «пройдя курс лечения»), многим из нас пришлось вернуться на станцию.

Я был одним из первых, кого в качестве эксперимента допустили в зону при условии получения лишь трети от предельно-допустимой дозы профессионального облучения, но отнюдь не единственным, как утверждает академик Л. А. Ильин. Был и другой выход — уйти со станции. Но это все равно, что, отдав последние деньги, уйти от прилавка, не дождавшись, пока тебе завернут покупку — то есть: недоработан стаж, не определено окончательно (прописка нам дана временная) место жительства. Да, было бы наивным, наверное, потеряв здоровье (или по крайней мере сомневаясь в нем), уйти, не получив по льготному списку машину... Правда, машину пришлось брать в долг, так как около года кочевал по больницам, *получая* очередной, *несвязанный с радиационным облучением*, диагноз. К слову, с большим удовольствием пожертвовал бы и машиной, и телефоном в городе Киеве... ради того чтобы вернуть здоровье себе и другим, вернуть прежнюю жизнь, вернуть город Припять. А самое главное — рассеять ту обиду, то неверие, которые засели в наших душах и не имеют конкретного адресата, ведь все говорят вроде бы правильные слова, вроде бы кругом идет перестройка, процветают гласность и демократия... А наш айсберг не только не собирается таять, но и увеличивается.

Многие знают, чем была для нас наша Припять, как мы душой приросли к этому светлому и жизнерадостному городу... Знает об этом и наша администрация, знает правительственная комиссия и все те, что приезжают агитировать «старый», по сути, уже выжатый коллектив за переезд в Славутич. Жесткие и унижительные условия диктуются нам, причем в весьма туманной обстановке, созданной Минздравом и службами радиационной безопасности, в которой действительно уже не разберешь, где ложь, а где всего лишь полуправда. Из соображений черствого рационализма! — они прибегают к запрещенным приемам, используя такие мощные психологические рычаги, как временная прописка, двухлетняя неопределенность и т. д., даже не задумываясь о людях: хватит ли у них после всего пережитого физических и моральных сил

для такого переезда, хватит ли решимости *снова* поместить свою семью, своих детей в условия сомнительно чистой природы. Неужели им еще мало? С той ночи, 26 апреля 1986 года, и по сей день натыкаюсь на стену лжи во всем. Это и наша пресса, особенно товарищи Одинец и Губарев, позаботились о том, чтобы у непосвященных (и в первую очередь за рубежом) создалось впечатление, что город энергетиков Припять (более 50 тысяч жителей) — это поселочек на 25 тысяч человек и искать его на карте надо чуть ли не в Молдавии, а поэтому и отношения к аварии он почти не имеет. Были случаи, когда в очереди к врачам припятчан ставили последними (Припять от ЧАЭС — 3 км, Чернобыль от ЧАЭС — 18 км, Киев — более 100). Это и скрытность (следствие беспомощности) службы радиационной безопасности, и крики на весь мир, что у нас самая лучшая техника (а замеры дозовой обстановки до сих пор ведем допотопными ДП-5 и им подобными приборами). Это и герои пожарные...

Конечно, и пожарные, эти славные ребята, и коллектив смены № 5 (живые и мертвые) — герои. Но нельзя забывать, что они еще и жертвы. Жертвы опять же чьей-то глупости, недалекости и просто равнодушия. Ни мы, ни тем более они — пожарные, не представляли ни масштаба аварии, ни степени угрозы.

Сейчас положение не лучше. По-прежнему служба радиационной безопасности подсчитывает по нашим «накопителям» «граммы» дозы внешнего облучения, в то время как «тонны» дозы внешнего и внутреннего облучения, полученные нами во время аварии и после (уже от своих радионуклидов) — остаются неизвестными.

Вот и уволься тут... Без документа, без информации. Кому и что докажешь? Всю жизнь будешь лечиться от насморка — и никому не нужно твое прошлое. И ЦРУ стоило бы поучиться у Минздравов СССР и Украины конспирации и умению лгать! Лечить не умеют, диагнозы определять не умеют, дозы — тем паче... Зато умеют писать диссертации и фальшивые выписки из историй болезни, умеют заткнуть рот, умеют сделать из нормального человека «душевнобольного». И нигде нет на них управы, потому что не оставляют они документов, изобличающих их деятельность.

И ведь интересно получается: радиация была вредна и страшна во всем мире — до аварии на ЧАЭС. Эхо Хиросимы и Нагасаки сорок лет звучало и утешало людей именно радиоактивными последствиями... звучало с экранов телевизоров и со страниц газет. А вот 26 апреля 1986 года смолкло! Впрочем, так же внезапно выздоровел и с формулировкой общего заболевания был отправлен из 6-ой клиники домой в Ташкент Матвеев, имевший с 54-го года хроническую лучевую болезнь и признававшийся все эти годы (в том числе и 6-ой клиникой) инвалидом. Он и выглядит инвалидом. Я находился с ним в одной палате в ноябре 1986 года — и увидел в нем свои перспективы. И мне стало страшно. Я видел, как он пытается бороться за свои права, — но он был один... Нас, выпечки 1986 года, было много — и все равно мы ничего не добились, ни на сантиметр не приблизились к истине.

Чтобы не быть голословным: ни в 6-й клинике в Москве, ни в 25-й в Киеве, ни даже в родной МСЧ-126 я не имел права прочитать или даже бегло пролистать карточку или выписку из своей же истории болезни — они для служебного пользования, а фактически — для секретного. И вот когда год спустя все же удалось попользоваться ею, я увидел насколько она фальшива!!! Оказывается, в ночь 26 апреля 1986 года и на следующую смену я был на работе *не полторы смены*, а всего *два часа*. Причем находился не на транспортном коридоре четвертого энергоблока, где и до сих пор заказано ступать ноге человека, в 20 метрах от реактора, а на расстоянии 300 метров. У меня был не радиационный ожог носа, а всего лишь воздействие таблеток йодистого калия (я рад, что дети оказались к нему более стойкими).

В данный момент я на ЧАЭС один из лидеров по хранению радионуклидов в организме, что, конечно, не делает мне чести, но это не единственное доказательство — реальное — моей причастности к той роковой ночи. Что характерно: 6-я клиника выставила меня с заключением «практически здоров» и

внешним фоном 800 мкр в час от груди, что в 10 раз выше предельно допустимого фона загрязнения вещей, находящихся в квартире. Все вещи, имевшие гамма-фон 70 мкр в час, изымались и вывозились на захоронение в Чернобыль. А ведь с вещами мы «общаемся» на расстоянии и периодически — я же, как вы понимаете, со своей грудью расстаться не могу. Да и фон внутри гораздо выше, чем снаружи. Но 6-я клиника отказалась учитывать это обстоятельство. Не послали меня и на СИЧ (счетчик излучений человека). Наличие гамма-фона категорически отвергалось (вот слова Гуськовой и ее зама Надеждиной: «Гамма-фон! Не может быть! Где вы мерились? Мыться лучше надо. Или прибор неисправен»). То же я услышал и в Институте радиологии в Киеве...

После заключения «практически здоров» я лечился еще целый год (меня проверили на СИЧ, но никаких результатов я не получил — тоже секрет), пытаюсь понять, куда же мне все-таки себя причислить: к больным или здоровым? Получил еще пять диагнозов — и все они, естественно, «не имеют практической связи с радиоактивным воздействием» (так утверждает 3-е ГЛАВНОЕ Управление при Минздраве). Подобными фактами могут похвастать и мои товарищи: Хандрос, Палькин, Заболотных, Стукалов, Богданов, Вербовой, Агулов, Непета, Шовкошитный и многие другие.

Спрашивается: откуда же берутся эти болезни у огромного числа абсолютно здоровых работников ЧАЭС? Или я и мне подобные просто мнительные люди? Работникам Минздрава нравится именно такая версия: раз радиофобия, то чего их лечить — время само вылечит!

Раньше была радиация, теперь — радиофобия. Если продолжить эту цепочку, то можно предположить, что на смену им непременно придут радиомания и — радиофилия (если такие времена настанут — настолько адаптируются люди, то несудны могут стать настоящим бичом атомной энергетики: они же растащат все топливо по домам!). Вот и пожинает плоды всего этого нынешний директор станции (который по счету?): кем, когда, на каких условиях будет заселен Славутич, когда стабилизируется коллектив, появится наконец возможность перейти на нормальный и безопасный график работы? Нам понятны его тревоги и проблемы. Наш директор заслуживает уважения и симпатии. Охотно верим, что он сдержит слово и первым поедет в Славутич. Но это обстоятельство не освобождает его от проблем взаимоотношений с прежним персоналом.

А «сверху» настойчиво требуют быстрее решения всех проблем — перестройка, ускорение (ради кого?). Боюсь, что вынужден будет и нынешний директор на все закрыть глаза и поставить ультиматум: едешь — не едешь? В первом случае придется с семьей (дети имеют по 20 бэр) догнывать в Славутиче — фальшивом, зато пригодном для киносъемок городе, причем «Положение о заселении...» позаботилось о том, чтобы ты уже никогда не вырвался из этой резервации. В противном случае, как отработанный элемент, будешь выброшен на улицу, как на клятом Западе, не доработав стаж, не имея ни постоянного жилья, ни свободы переселения, ни честных медицинских документов, ни элементарных представлений о своих жизненных ресурсах (впрочем, извиняюсь: остается еще машина, за которую выплачивать до 2002 года, и силуминовая медалька «За ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС», и, несмотря ни на что, теплые воспоминания о родной атомной станции и ее коллективе, о городе, где любили и *верили*, еще не помышляя о той грязи, в которой теперь живем).

Теперь все изменилось. Авария на многое открыла глаза, сделала нас жестче, грубее, практичнее. И вот эта практичность, выработанная после аварии, подсказывает, что вряд ли мы чего-нибудь добьемся: гласность, демократия, справедливость — лишь иллюзия.

Судеб, похожих на мою, здесь много. У каждой свои нюансы. Но объединяет нас одно: *неверие*! Лично для меня это страшно вдвойне, потому что я педагог по образованию (в случае ухода со станции мне придется работать с детьми — вот как им да своим детям не передать эти настроения?). Так что остается лишь пожелать больше усердия и конспирации товарищам из Королевства Кривых Зеркал. А мы,

поодиночке, будем уходить в город *уснувшего человеческого достоинства* за своим особым счастьем... Только кажется мне, что все мы только бы выиграли, если бы научились проявлять к людям гуманность еще при их жизни, чтобы потом, лет через пятьдесят, не было необходимости гордо заявлять об искуплении своих грехов, своего позора...

Итак, подведем итоги...

В «Литературной газете» (8 февраля 1989 года) писатель С. Залыгин рассказывает об «весьма представительном совещании» по пропаганде строительства гидроэнергетических объектов на ближайшие 15 лет, когда число крупных ГЭС с 200 должно возрасти до 300. И далее: «...АЭС — это вообще «закрытая зона». Мы у себя в журнале («Новый мир») задумали напечатать повесть о чернобыльской трагедии. Но тема оказалась вне зоны гласности — в соответствии с инструкцией Совмина».

Кроме инструкций, существует и ведомственная цензура. Целый ряд моих очерков и новелл о чернобыльской трагедии имеет такой новоявленный штамп: «Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР. Разрешается для открытого опубликования с учетом замечаний по тексту на стр. (далее следует перечень страниц, на которых — красными! — чернилами вычеркнуты предложения и целые абзацы, связанные с недоверием к чиновникам от атомной энергетики и здравоохранения, не говоря уже о конкретных цифрах или фактах «уличительного» содержания). Других сведений, запрещенных «Перечнем по ЧАЭС» не содержится». Вот это и есть «главный урок Чернобыля» в период гласности: ведомства стали комитетами по литературной цензуре, а чернобыльская тема вообще «не-желательна».

Что из этого следует?

Начну с письма москвички Ольги Сергеевны Игнатьевой. Осенью 1985 года ее единственный сын Леонид Владимирович Игнатьев, 1967 года рождения, Куйбышевским райвоенкоматом города Москвы был призван в ряды Советской Армии и 16 ноября этого же года направлен в учебную часть на территории Эстонской ССР. 26 марта 1986 года по состоянию здоровья (у него были ограничения от трех специалистов: невропатолога, хирурга и терапевта) был помещен в Таллиннский военный госпиталь. 7 апреля Ольга Сергеевна навестила сына. Но весь май от него не было никаких известий, «кроме одного короткого ночного телефонного звонка, когда он сообщил, что его срочно переводят для дальнейшего прохождения службы на Украину (якобы по специальности). До службы, на гражданке, Леня успешно окончил Московское медицинское училище по специальности медбрат общего профиля...»

На запросы матери ни командование учебной части, ни администрация госпиталя не ответили.

«Неожиданно 30 мая Леонид позвонил мне и сказал, что снова лежит в том же госпитале. Я срочно выехала в Таллинн и пробыла у него в госпитале несколько дней, ночуя рядом с ним в палате — с разрешения администрации. Леня там получал какое-то лечение и одновременно служил в должности фельдшера.

...в этот приезд меня охватила какая-то смутная тревога, беспокойство за сына. Теперь он выглядел значительно хуже: мучительно кашлял, задыхался, его обуревала сонливость, апатия, сопровождаемая потерей аппетита, потерей интереса к жизни...»

13 октября 1986 г. Леонид был переведен в Смоленскую обл. для дальнейшего прохождения службы.

«...он был проездом в Москве, и мы с ним встретились дома. Он по-прежнему молчал, а перед уходом его на пересылочный пункт я случайно увидела его документы и среди них — бумагу следующего содержания: «Благодарственное письмо... За выполнение особо важного правительственного задания в качестве оператора рядовому Игнатьеву Л. В., 1967 г. р., объявить благодарность от Министра Обороны СССР...»

Когда я спросила сына об этом письме, он уклончиво ответил, что «говорить о таких вещах им не положено» и, вопреки моей просьбе оставить благодарность дома, что он обязан передать ее замполиту новой части».

1 декабря 1986 года Ольга Сергеевна приехала к сыну в Смоленскую область. Прямо с контрольнопропускного пункта ее вызвали к командиру батальона и начальнику штаба. «Их интересовало все, что касалось характера сына, его интересов, наклонностей, болезней и т. д. После недолгих расспросов они объявили о том, что мой сын «молодец», «он отдал свой долг Родине», что он «принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в мае этого года...»

Из беседы с сыном мать узнала, что он находился в зоне чернобыльской трагедии в селе Корогод в составе отдельного инженерного батальона в должности оператора (назвал фамилии командиров), за что получил денежное вознаграждение 236 рублей.

С 18 января по 27 июля 1987 года, с небольшими перерывами, находился в командировке в Москве, в штабе Московского военного округа, жил дома. «В нем произошли большие перемены: непрерывный кашель по ночам, мучительные головные боли и сонливость, почти полное отсутствие аппетита, интенсивное выпадение волос, боли в почках, желудке, позвоночнике, в ногах... На Чернобыльской АЭС он в первых партиях солдат занимался дезактивацией грунта... В течение этого года он потерял 22 зуба и с целью протезирования с 1 по 14 декабря 1987 года находился в госпитале Смоленска... 18 декабря 1987 года был уволен в запас... через месяц устроился на работу по своей специальности в отделение общей реанимации Всесоюзного научно-хирургического центра АН СССР... там встретил свою невесту Машеньку. Но его состояние здоровья тревожило... прошел обследование и его проинформировали о том, что он весь «трещит» и что лучше бы не думать о женитьбе... Я достала для Лени с невестой две путевки в подмосковный санаторий, а когда он вернулся, то узнала, что сын похудел на 8 килограммов. А 27 июля 1987 года вечером, придя с работы, я обнаружила моего сына мертвым...»

Предварительное заключение врачей «скорой», что смерть наступила в результате лучевой болезни, стояло под вопросом. Врачи Лефортовского судебно-медицинского морга выдали матери заключение о смерти в результате отравления ядом.

«Я писала в райвоенкомат, в Министерство обороны, в Минздрав СССР и прочие «цитадели», откуда получила лишь формальные отписки о том, что о пребывании моего сына в районе Чернобыля им ничего не известно. А из воинских частей, где он служил, последовали ответы, что «Игнатьев Л. В. за время прохождения службы на ЧАЭС не был и за медицинской помощью не обращался». А из Министерства обороны получила «утешение»: в Чернобыле архивы на солдат были заведены лишь с 13 июня 1986 года.

...в итоге я оказалась в положении сумасшедшей матери, требующей от государства незнамо чего! Умер мой единственный сын, а я прошу правды, приведшей сына к безвременному концу! Какое право имею я на эту правду?»

А теперь обратимся к публикации в «Правде» (20 марта 1989 года), где на правде строит разговор и председатель Государственного комитета СССР по гидрометеорологии Ю. Израэль: «...прошло уже около трех лет, но радиоактивное загрязнение сред на значительной территории остается острой технической и социальной проблемой. К сожалению, напряженность на этой территории сохранится еще длительное время... Специалисты Минздрава СССР измеряли дозы, получаемые каждым человеком, с помощью счетчика излучения человека (СИЧ), определявшего накопленное количество цезия-137 в организме человека — наиболее распространенного в последнее время радионуклида.

Были оценены эффективные эквивалентные дозы внешнего и внутреннего облучений людей за первый и последующие годы в сотнях населенных пунктов. Изучение изотопного состава и гамма-полей позволило это сделать с достаточной точностью.

Индивидуальные дозы облучения (внутреннего и внешнего) накопленные к осени 1988 г. большинством жителей (по данным Минздрава СССР), составили в среднем 5,3 бэр. Среди населения не обнаружено заболеваний лучевой болезнью ни в какой форме».

У Минздрава СССР есть совершенно другие данные, которые он и не собирается обнародовать. Это выводы авторитетной комиссии, заверенные шестью авторитетными подписями.

Как же проводится на Украине учет лиц, подвергшихся радиационному воздействию?

В Житомирской и Киевской областях, особенно по эвакуированным, такой учет «не в полной мере обеспечивается». Извещения на лиц, которые подверглись радиационному воздействию, поступающие из органов внутренних дел, остаются в областных отделах (во вторых секторах), но в работе отделами не используются и не передаются в больницы по месту жительства. Например, в Полесском и окрестных селах проживает 206 эвакуированных, а в спецкартотеку ВНЦРМ (Всесоюзный научный центр радиационной медицины) поступили извещения только на 54 человека. В Черниговской области по данным спецкартотеки по персональному учету эвакуированных ВНЦРМ к первому января 1989 года проживает 1838 человек, а по данным областной больницы — 1121. «Что касается лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, то достоверной информацией о их численности здравоохранение не располагает и учет их ведется только после выявления силами медработников. Никаких сведений о их миграции здравоохранение не получает».

По распоряжению Минздрава УССР с начала 1988 г. во Всесоюзный распределенный регистр (ВРР) запрещено включать тех, кто участвовал в ликвидации аварии после января 1988 г. Но ведь работы по реконструкции четвертого блока и дезактивации продолжаются, а уровни радиационного загрязнения многих территорий высокие!

Неудовлетворительно и качество заполнения медицинских регистрационных документов. Да и велась эта работа в основном в 1987 году! В большинстве медицинских учреждений не оформлены кодировочные талоны по результатам так называемой диспансеризации 1988 года, поэтому судить о ней по регистрационным документам невозможно, а значит, и о состоянии здоровья населения. Не оформляются документы на умерших, а в тех, что все же оформлены, нет дат и причины смерти. Это касается и умерших детей. «Представляемая в республиканский регистр информация необъективна и не может использоваться для анализа и разработки. В связи с этим оценить уровень смертности наблюдаемых лиц не представляется возможным».

Работа по индивидуальной дозиметрии населения действительно проводится. Но с 1986 года ни один из показателей уровня облучения не внесен в лист учета данных дозиметрии и данные регистра. «Поэтому дозовые данные имеет только небольшая часть лиц, принимавших участие в ликвидации аварии (перенесены из имевшихся на руках документов)». А в таком случае «по сути дела, проводимая работа не имеет ни информационной, ни практической, ни научной значимости». И все же за этот короткий послеаварийный период написаны и кандидатские, и докторские диссертации...

Согласно решению Коллегии Минздрава СССР от 21 октября 1988 года установлен предел индивидуальной пожизненной дозы облучения населения контролируемых районов, особенно Киевской и Житомирской областей. Ю. Израэль настроен оптимистично: «Еще и еще раз отмечу, что радиоактивное загрязнение всегда будет вызывать тревогу, но при условии соблюдения норм и инструкций Минздрава СССР и Госагропрома не представляет опасности для здоровья населения». Каких норм и инструкций и где

они? И можно ли их соблюдать при тотальной лжи и дезинформации, когда и сам Минздрав не выполняет даже своих половинчатых распоряжений?! Когда сам Минздрав задает себе вопросы: «...каким образом, куда, в какие сроки будет проводиться отселение из населенных пунктов, которые будут отнесены к третьей группе? Каковы задачи здравоохранения? Как быть с отдельными, проживающими в контролируемых районах лицами, уровни облучения которых уже сейчас достигли или достигнут в ближайшее время установленного предела дозы и проживание в этих районах недопустимо?»

А что сообщает Израэль: «Возникла необходимость в выработке рекомендаций для длительной работы и жизнедеятельности в местах строгого контроля на загрязненной цезием-137 территории, так как именно этот радионуклид представлял основную опасность за пределами зоны отселения (совместно с цезием-134). Речь шла уже не о кратковременной, по которой, решались вопросы срочной эвакуации населения, а пожизненной дозе, которая очень медленно, почти равномерно набирается в течение всей жизни безопасными малыми дозами.

В связи с этим Минздрав СССР в ноябре 1988 года принял решение об установлении предела пожизненной дозы облучения населения районов аварии в 35 бэр.

Необходимо подчеркнуть, что при этом в расчетах имеется некоторый запас, ведь расчеты делаются на человека, который родился (или был привезен на эту территорию в детском возрасте) в 1986–1989 гг. и проживет в этих пунктах всю свою 70-75-летнюю жизнь».

Согласно приказу Минздрава СССР умершие, проходившие диспансеризацию и включенные в регистр, а также мертворожденные от лиц, подвергшихся радиационному воздействию, подлежат вскрытию. В Полесском и Вильче в 1987 году умерло 353 человека, но не было ни одного вскрытия из-за... отсутствия патологоанатомической службы. В Овруче Житомирской области есть такой центр, но вскрываются только умершие в лечебных учреждениях: из 54 умерших взрослых — 47, из 20 детей — 16, хотя диспансеризацию проходило 17 детей. Аналогичные данные по Народицкому району.

Добавьте к этому, что в документах на людей, прошедших так называемую диспансеризацию, нет данных дозиметрии, данных о заболеваниях, выявленных при профилактических осмотрах, и, как следствие, установленная группа диспансеризации не соответствует выявленной патологии. Только в Киевской области в областной больнице собрана за один год и направлена в медикогенетический центр информация на основании приказов Минздрава СССР «Об утверждении экстренного Извещения о случае смерти ребенка в возрасте до двух лет (мертворождении)», «О регистрации врожденных пороков развития у новорожденных в родовспомогательных учреждениях республики». Показатели заболеваемости основных классов болезней и смертности «указывают на изменения в сторону роста». И это с учетом того, что работа по диспансеризации лиц, подвергшихся радиационному воздействию, и передача этих данных на Всесоюзный распределенный регистр проводится неквалифицированно, а засекреченность, нехватка нужной диагностической аппаратуры и лекарств практически исключает и само лечение больных.

По результатам профилактических осмотров за 1988 год по Киевской, Житомирской, Черниговской областям (по четырем группам первичного учета) признано здоровыми:

- по 1 группе— 12 360 (осмотрено 17 589),
- по 2 группе — 13 393 (осмотрено 29 465),
- по 3 группе — 56 188 (осмотрено 124 580),
- по 4 группе — 2733 (осмотрено 4186),
- то есть из 175 820 человек признано здоровыми 84 674.

И отдельно по Киевской области осмотрено 100 567 человек, признано здоровыми 39 953 (по 1 группе — 6410 из 10 064 осмотренных, по 2 группе — 11 894 из 27 097, по 3 группе — 20 549 из 61 546, по 4 группе — 1100 из 1860 осмотренных).

Не следует забывать, что в подавляющем большинстве эти осмотры проводились на уровне пальцев и глаз врачей.

Во Всесоюзный распределенный регистр по группам первичного учета по этим трем областям включено 187 743 человека, из них взрослых — 135 760, детей — 51 983. (По Киевской области — 108 498, из их взрослых — 89 322, детей — 19 176, по Житомирской области — 26 833, из них взрослых — 21 273, детей — 5560, по Черниговской области — 52 412, из них взрослых — 25 165, детей — 27 247).

Теперь посмотрим структуру заболеваний за 1988 (данные только по взрослому населению) по трем областям по таким причинам:

новообразования — 2005 (по Киевской области — 1445),

болезни эндокринной системы — 3046 (2442),

психические расстройства — 3051 (2535),

болезни нервной системы — 7037 (5116),

болезни системы крови — 36 065 (25 589),

болезни органов дыхания — 21 048 (17 089),

болезни органов пищеварения — 11 863 (8799),

болезни костно-мышечной системы — 9152 (5998),

прочие болезни — 9183 (7653),

итого: 102 448 человек (по Киевской области — 76 666). И, наконец, гиперплазия щитовидной железы:

по Киевской области — 7230,

по Житомирской области — 4560,

по Черниговской — 2660,

что в общей сумме даст 14 450 человек.

Остается только проследить структуру смертности лиц, включенных во Всесоюзный распределенный регистр, по следующим причинам:

новообразования — 235 (по Киевской области — 162),

болезни системы кровообращения — 1465 (990),

болезни органов дыхания — 140 (66),

болезни органов пищеварения — 24 (15),

врожденные аномалии — 9 (5),

прочие причины 38 (24),

то есть по трем областям — 1911 человек, по Киевской области — 1262 человека [\[2\]](#).

И вновь вернемся к «откровениям» Израэля: «Наиболее мощное истечение радиоактивных продуктов из аварийного блока наблюдалось в первые 2–3 суток после аварии (столько же находилось в Припяти и его население — так сколько же на самом деле получено в среднем каждым жителем, неужели те же 5,3

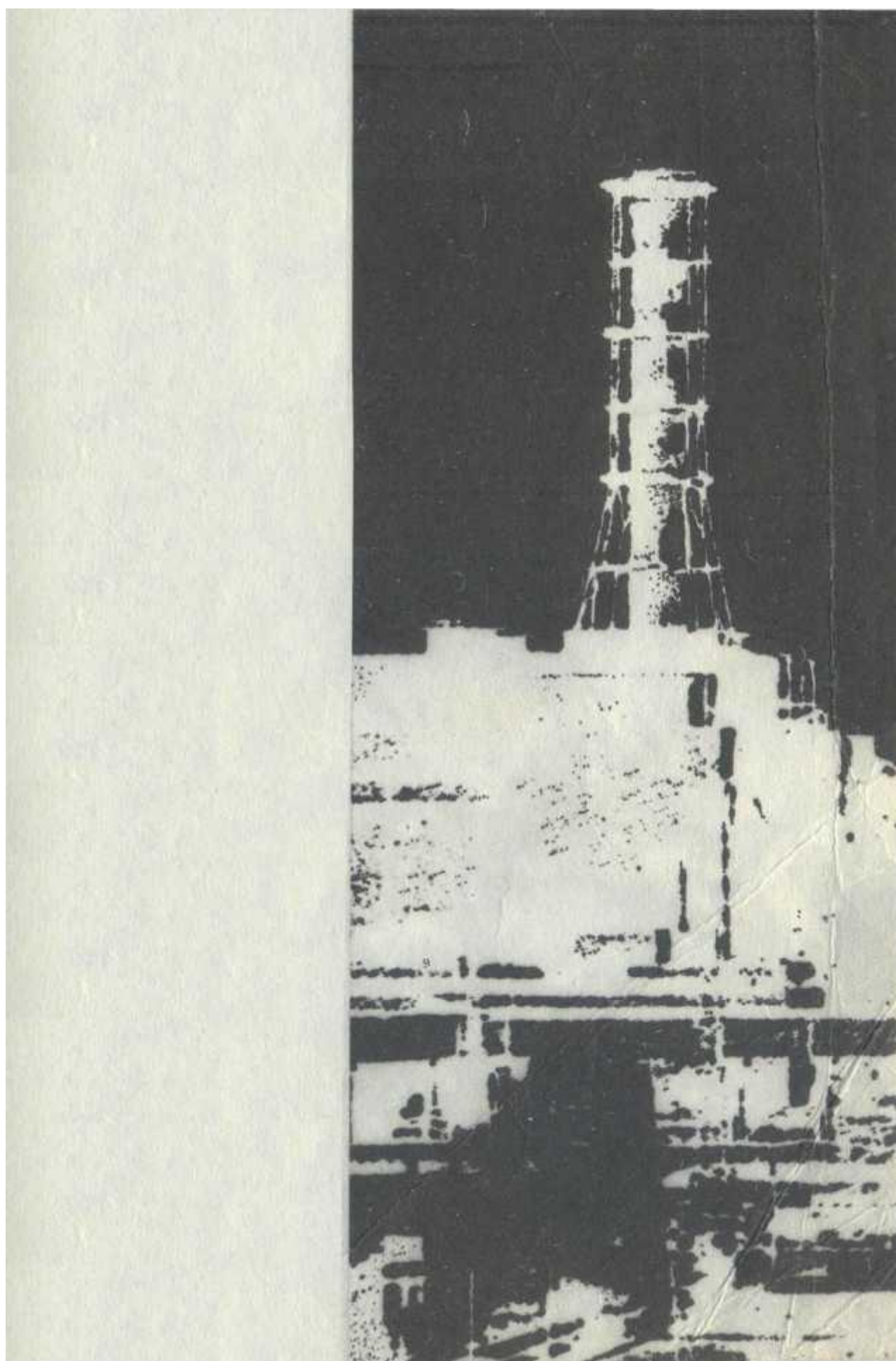
бэра? — хочется спросить Ю. Израэля) в северо-западном и северо-восточном направлениях. Высота струи 27 апреля, по самолетным данным, превышала 1200 метров.

Формирование основной части радиоактивных выпадений в ближней зоне закончилось в первые 4–5 суток. Однако полное формирование радиоактивного «следа» и «пятен» продолжалось в течение всего мая».

В январе 1987 года я обращалась письменно в ЦК КПСС с большими, и небезосновательными, сомнениями по поводу «уникальности метода академика Е. Велихова: бомбардировки поврежденного реактора мешками с песком и свинцом в течение нескольких дней, когда и реактор давно погас сам! — что равносильно планомерному и сознательному заражению земли (я тогда еще не знала о сознательно расстрелянном над Белоруссией радиоактивным облаке!), обращалась в этом письме и по вопросу медицинского обслуживания эвакуированных, и о нецелесообразности строительства Славутича (до сих пор вскрытие умерших здесь также не проводится). Впоследствии люди отказывались от переезда в Славутич, за что к ним применялись репрессивные меры.

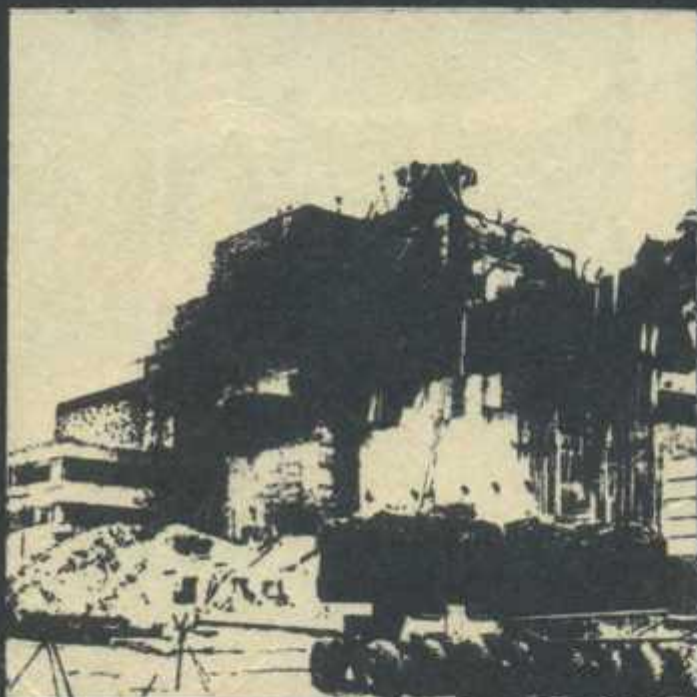
Передо мной протокол заседания совета трудового коллектива смены № 5 от 31 августа 1988 года, где, в частности, говорится: «Коллектив смены № 5 ставит под сомнение достоверность результатов исследований комиссии о резком ухудшении здоровья работающих по 12-часовому графику, росту аварийности по вине персонала ЧАЭС по сравнению с другими АЭС в 1987–1988 гг. при существующих социально-бытовых условиях и морально-психологическом климате.

Состояние здоровья персонала, его работоспособность, надежность эксплуатации энергоблоков ЧАЭС за весь период после аварии определились: влиянием повышенной радиации на здоровье, увеличением затрат времени на перевозку персонала на станцию и обратно, психологической неустойчивостью персонала из-за давления администрации по заселению Славутича, неготовностью транспорта для перевозки персонала в зимний период, выдачей уведомлений об увольнении при неопределенности трудоустройства в Киеве и при отсутствии постоянной прописки (в настоящее время все эвакуированные, проживающие в Киеве, получили постоянную прописку), разделение коллектива на две категории: «едущих» и «не едущих» в Славутич, появлением большого числа нового персонала, не имеющего опыта работы на АЭС, текучестью прикомандированного персонала». Итак, рано подводить итоги, рано говорить об уроках Чернобыля, если еще не сказана правда о нем, если гласность в руках ведомств, если наши гражданские права грубо попираются.



35 к.

Любовь
Ковалевская
**Чернобыльский
ДНЕВНИК**



Примечания

1

В очерке приводятся отрывки из писем Игоря Ревы.

2

Приведенные в материале цифры и факты взяты из справки комиссии в составе: директора НИИ эпидемиологии и профилактики лучевых поражений ВНЦРМ АМН СССР доктора медицинских наук В. А. Бузунова, руководителей лабораторий ВНЦРМ АМН СССР докторов медицинских наук В. Н. Бугаева, Н. И. Омелянца, кандидатов медицинских наук Б. А. Ледощука, А. К. Чебана и руководителя отдела РИВЦ Минздрава УССР Н. И. Иванченко.